

*Андрей Колесников*

АРХЕОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
(САМО)СОЗНАНИЯ:  
ИСТОКИ, ИДЕИ И ЛИЦА

Школа  
гражданского просвещения  
2019

ББК 66.3(2Рос)6  
К 60

Дизайн обложки *Анны Хохловой*

*Книга издана при поддержке НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» и частных пожертвований.*

**Андрей Колесников.**

К 60 Археология гражданского (само)сознания: истоки, идеи и лица. М.: Школа гражданского просвещения, 2019. — 148 с.

Ключевая идея этой книги — изучить истоки пробуждения гражданского самосознания, которое ведет к появлению слоя думающих людей и будущей коалиции за перемены в стране; проникнуться духом времени, чтобы понять его. Понять 1940–1980-е — чтобы увидеть: история гражданского самосознания началась не сегодня утром, до Facebook и Telegram были свои социальные сети — гитары, магнитофоны, самиздат, тамиздат; до «Маяка» и «Жан-Жака» — «шалманы», «квартирники» и кухонные разговоры. Мы стоим на плечах гигантов, которые стоят на плечах других гигантов и эта преемственность длится не один десяток лет. В истории пробуждения гражданского сознания есть и свои закономерности, и повторяющиеся сюжеты, что позволяет лучше понять возможности общества граждан в дне сегодняшнем.

В основу настоящего издания лег курс лекций, прочитанный в рамках SCE Advanced Programme 2018.

**ББК 66.3(2Рос)6**

ISBN 978-5-93895-118-1

© А.Колесников, 2019  
© Школа гражданского просвещения, 2019

## *Содержание*

1. Инако- и разномыслие в 1950–1980-е — наша «бархатная революция» . . . . . 6
2. Сопротивление системе изнутри: «Новый мир» и его враги . . . . . 57
3. 1968-й в истории гражданского самосознания . . . . . 68
4. Галич, Кормер, Тарковский, Мамардашвили, Трифонов и другие — слово, звук, изображение . . . . . 93
5. Как наше слово отозвалось. Послесловие . . . . . 123

*И не мертвец нам ненавистен, а наша немота.*

Павел Антокольский

Каждое новое поколение уверено в своей уникальности, беспрецедентности, неповторимости. Какими бы поучительными ни были уроки истории — они никогда не будут выучены или учтены. В этом и состоит, кстати, главный — и повторяющийся — урок истории. Поучительными ситуациями пренебрегают правители и рядовые обыватели, но и даже в попытках осмыслить действительность и проявить гражданскую позицию целые поколения иной раз «изобретают велосипед». Механизмы формирования слоя думающих людей, образующих или готовых образовать гражданское общество, во все времена одни и те же. У общества граждан в России — богатые традиции и прочный фундамент. Хотя все это скрыто под внушительным культурным, точнее, антикультурным слоем, и потому трудно себе представить, что если копнуть заросший пустырь — найдешь сокровища.

История гражданского самосознания началась не сегодня утром, до Facebook и Telegram были свои социальные сети — гитары, магнитофоны, самиздат, тамиздат, до кафе «Маяк» и «Жан-Жак» — квартирники и кухонные разговоры.

Прошлое живет в будущем. И даже его разрозненные картинки доказывают: мы не одни, мы не парим в воздухе без опоры. У нас славное прошлое, опытные учителя и — множество обстоятельств, на которых можно учиться, с которыми можно сверять свой опыт с уроками поколений.

Собранные под этой обложкой эссе склеены одной идеей: мы стоим на плечах гигантов, которые стоят на плечах других гиган-

тов, и эта преемственность длится не один десяток лет. В истории пробуждения гражданского сознания есть и свои закономерности, и повторяющиеся сюжеты. И если внимательно взглядеться в истоки и корни гражданского общества, можно лучше понять его возможности в дне сегодняшнем.

# 1. Инако- и разномыслие в 1950–1980-е — наша «бархатная революция»

*После суда над Синявским и Даниэлем, с 1966 года, ни один акт произвола и насилия властей не прошел без публичного протеста, без отповеди. Это — драгоценная традиция, начало самоосвобождения людей от унижительного страха, от причастности к злу.*

Анатолий Якобсон

Инакомыслию сопутствовало разномыслие, которое было и не против, и не за — просто другое. Нечто, отличное от единомыслия. Формированию представлений об институциональных основах демократии сопутствовала «шалманная демократия». Так социолог Борис Фирсов назвал тот многосоставный и невнятный бульон, который варился, ну, например, в советских пивных, а потом на кухнях отдельных квартир, предшествовавших модным кафе фрондирующего креативного класса, реинкарнацией доперестроечной интеллигенции. Главное в этом процессе — рефлексия и сомнение. Гражданское общество рождается через мышление. Другой технологии не существует.

## Шорт-лист саморефлексии

Почему в название этой главы включено понятие «наша бархатная революция»? Что это вообще такое в нашем, советском, а затем постсоветском случае? «Бархатные революции» подвели черту под коммунизмом. Единообразного «конца истории» по Фукуяме в результате не случилось (точнее, он длился недолго), да и опыт самих революций, равно как и постреволюционного развития, оказался сильно индивидуализированным.

Уникальность каждого опыта — польского (Круглый стол с оппозицией), чехословацкого (самого красивого и романтического — Пражская весна), немецкого (самого символического, поскольку была разрушена Стена), румынского (самого жестокого, с распра-

вой над Чаушеску — и это уже была не совсем «бархатная революция») — диктовалась предшествовавшей историей политического развития и саморефлексии нации.

В странах — лидерах «бархатных революций» шла своя интенсивная, интеллектуально очень напряженная подготовка перемен. Чешский опыт осмысления дал миру сопутствующий продукт — выдающуюся литературу, Милана Кундера и Тома Стоппарда (впрочем, не говорящего по-чешски, зато написавшего пьесу «Рок-н-ролл» — о событиях, приведших к Пражской весне), польский — исторически значимую журналистику («Газета wyborcza»). Постреволюционный период в странах-лидерах был отмечен очень быстрым переходом от слов к делу — к реформам, подготовленным и осмысленным за долгие годы; клубная полуподпольная активность породила хорошо сыгранные команды реформаторов. Нигде не прекращалась постреволюционная и постэволюционная рефлексия. Там, где она прервалась — в Венгрии, России, отчасти Польше, начался откат назад, к политической архаике и национализму.

Мы забываем о своей «бархатной революции».

Революции происходят не только на улицах, не только в головах миллионов людей. Они были совершены — так же как в тех же Польше и Чехословакии, отчасти в Венгрии — сначала образованным классом. В головах его представителей. С ощущением себя преемниками демократического наследия предыдущих поколений (революция 1989-го в Чехословакии началась с поминовения Яна Оплетала, смертельно раненного 28 октября 1939-го во время демонстрации против фашистской оккупации).

Просто грубый шорт-лист того, как и за счет чего саморефлексия подлинной элиты (не в нынешнем значении слова, разумеется) подготавливала перемены.

Опыт диссидентства. Опыт сам- и тамиздата. Литература (например, Александр Солженицын, «Новый мир» Александра Твардовского). Философия 1960–1970-х (от Александра Зиновьева и Эвальда Ильенкова до Владимира Кормера и Мераба Мамардашвили; круг журналов «Вопросы философии» и «Проблемы мира и социализма»), социология тех же лет (от Бориса

Грушина и Юрия Левады до Татьяны Заславской и Бориса Фирсова). Экономические кружки 1980-х (ленинградско-московская экономическая школа с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром в качестве лидеров) — те люди, которые потом делали рыночные реформы.

Самое страшное для режима дело — люди думали, учились сами и просвещали других. Думать — ключевой глагол. Мышление — ключевое существительное.

Это же классика — исторический анекдот о линчевании Эвальда Ильенкова перед изгнанием с философского факультета МГУ: «Куда они нас тащат? Они нас тащат в область мышления!» Голос из зала: «Вас туда не затащишь!»

Так вот, как только заканчивается мышление — заканчивается все. Начинается деградация и архаизация массового и элитарного сознания.

Сейчас нет саморефлексии нации. Поэтому власть может не беспокоиться — революции не будет. Чтобы она состоялась, недостаточно выйти на улицу. Даже миллионам, как это было в эпоху «бархатных революций». Выходу на улицу, меняющему страну и мир, предшествует кропотливая интеллектуальная и нравственная работа, как в Чехословакии, СССР, Польше, Венгрии примерно в течение двух десятков лет. И, к сожалению, всякий раз эту работу приходится проделывать заново, раз конформизм приводит к тому, что она прекращается.

«Модернизация» Дмитрия Медведева не потянула на «Пражскую весну». «Болотные» митинги в 2011–2012 годах не дотянули до «бархатной революции».

Наследуют ли «бархатным революциям» «цветные»? И да, и нет. Наследуют, потому что и то и другое — революции. Наследуют, потому что и те и другие революции — это продолжение распада империи и ее окрестностей. Ведь империи не разваливаются одномоментно просто оттого, что кто-то объявил себя независимым от кого-то или разрушил Берлинскую стену. Это не конец процесса, который «пошел» по Горбачеву. Это начало процесса и новой истории. Жизнь истории после ее «смерти» — падения коммунизма.



Наследуют, потому что, по определению Юргена Хабермаса, это «революции обратной перемотки». Есть «догоняющее развитие», а есть «догоняющие революции»: то, что не было сделано после революций рубежа 1980–1990-х, наверстывается последующими революционными волнами. Это своего рода повторная модернизация: когда власти хочется вручить стартовый пистолет, чтобы она уже хотя бы что-нибудь сделала, перестав пилить недопиленное, — для этого иной раз приходится выйти на улицу.

Как в 2004 году в Киеве (то, что произошло во время второго «Майдана» –2013–2014 — это повторное вручение власти переходящего стартового пистолета: с первого раза не получилось), как в 2011–2012 годах в Москве. И надо понимать, что и Болотная 2012 года была не окончанием процесса, а началом его. История имеет дело с долгим временем.

И в то же время — нет, «цветные революции» не наследуют «бархатным». Потому что им, этим революциям, не предшествовала многолетняя интеллектуальная работа, то самое осмысление — причем не только, скажем, инструментов экономической политики, но и нравственных основ власти и управления.

...Симптоматично, что физический крах Берлинской стены начался со слов члена гдээрковского Политбюро Гюнтера Шабовски об учреждаемой свободе выезда. Свобода перемещения в пространстве предшествовала участию в свободных выборах. «Чекпойнт Чарли»\* срифмовался с «дыханием Чейн-Стокса».

Так вот, «бархатную революцию» в России наши спецслужбы и пропагандисты ищут не там. За невозможностью использования института свободных выборов рефлексирующая часть населения пользуется пока еще сохраняющейся свободой выезда. В результате такой «революции» страна теряет человеческий капитал.

---

\* Контрольно-пропускной пункт в Берлине после возведения Берлинской стены.

## Эффект 22 июня

Впрочем, разговор о российской «бархатной революции» надо начинать не со смерти Сталина, не с XX съезда, а с... 22 июня 1941 года. Даты, которая выпала из перечня наиболее значимых событий отечественной истории (если вообще входила в него). Чего только нет в этом списке социологов — от полета Гагарина до восшествия на престол Путина. На первом месте по значимости, конечно же, День Победы. А вот день начала войны — отсутствует. Больше того, так сложилось исторически в массовом сознании, подверженном пропагандистским усилиям всех без исключения вождей, что дата 22 июня находится в некоторой конкуренции с датой 9 мая.

Нет, разумеется, никто не умаляет значения Победы как главного события нашей истории и единственной даты, объединяющей нацию. Но какова цена — прежде всего человеческая — этой Победы. Цена, которую заплатила страна по причине неготовности к другой дате — 22 июня.

И вот когда начались сомнения в справедливости режима даже у самых правоверных советских людей. В «Живых и мертвых» Константина Симонова: «Друзья мои...» — повторяя слова Сталина, прошептал Синцов... Неужели же только такая трагедия, как война, могла вызвать к жизни эти слова и это чувство? Обидная и горькая мысль! Синцов сразу же отмахнулся от нее...» В «Солдатами не рождаются» устами Серпилина, кадрового командира, посаженного Сталиным, а затем возвращенного в армию, Симонов рассуждает, точнее, констатирует: «У него сейчас было странное чувство, что тогда одновременно существовало... два соседних и разных времени. Одно ясное и понятное, с полетами через полюс, с революционной помощью Испании... и тут же рядом — только ступи шаг в сторону — другое время, страшное и с каждым днем все более и более необъяснимое».

День начала войны и День Победы имеют разную философию. 22 июня — это катастрофа. Причем рукотворная: тут и пакт Молотова — Риббентропа, и уничтожение цвета военного руководства, и неготовность к войне.

9 мая эксплуатировалось всеми вождями в своих политических целях. Для Сталина это была личная победа. Брежнев легитимировал праздником свой режим — Победа все списывала, а «поколение комбатов» было довольно общественным признанием и своим положением в обществе. При Путине власть покрыла себя, в сущности, чужой славой, увлекшись пиаровскими парадами в логике вставания с колен и возрождения Отечества.

9 мая позволило Сталину конвертировать свой позор и животный страх в личный триумф. Правда, с наследием войны, с теми, кто в ней по-настоящему победил, он очень быстро расправился. Война, по точному выражению публициста Юрия Буртина, была временем свободы. Об этом же писал Борис Пастернак: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». С окончанием войны связывали надежды на либерализацию все: от эзков, которые думали, что их освободят после Победы, до тех, кто увидел Европу и уровень тамошней жизни, двигаясь на Запад в полном соответствии с дорожной картой из песенки Утесова. А получили в ответ неслыханное ужесточение режима.

22 июня началось с фразы Сталина (полчетвертого утра): «Это провокационные действия немецких военных, огня не открывать». Советский народ прикрыл корифея всех наук, за что тот ему был очень благодарен. На грандиозном приеме в Кремле 24 мая 1945 года в своем тосте Сталин сказал этому народу спасибо: «Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы...» Спустя месяц после тоста за русский народ с его «ясным умом, стойким характером и терпением», на очередном приеме Сталин пил за людей, «у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых

мы все — маршалы и командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ничего не стоим».

Вскоре в Центральном аэродинамическом институте (ЦАГИ) прошла своего рода демонстрация: молодые сотрудники промаршировали по коридору, декламируя: «Мы винтики, мы шпунтики». Обошлось без последствий, все-таки учреждение имело соответствующий проводимым работам статус. Особисты искали и автора стихотворения о Сталине, в котором после тоста отца «истерзанный русский народ/ Умиления слезы с восторгом лизал, / Все грехи отпустив ему наперед». Как выяснилось годы спустя, авторство принадлежало будущему знаменитому философу и писателю Александру Зиновьеву, прошедшему всю войну танкистом, а затем летчиком с 31 боевым вылетом.

После Победы Сталин начал заметать следы, уничтожать память о «поколении 22 июня» и само поколение. Опала маршала Жукова и «дело авиаторов» были только началом.

Жесткая идеологизация политического поля резко контрастировала с «временем свободы», начавшимся после 22 июня, когда бой шел «не ради славы, ради жизни на земле», когда народ защищал свою землю, а не государство и режим. Часть нынешней мифологии войны как раз и сводится к отождествлению государства и страны, что совершенно не соответствует действительности и является совсем уж циничным искажением правды.

Весьма характерный в этом смысле пример — хрестоматийная поэма Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца», где нет ни единого упоминания Сталина, партии и марксизма-ленинизма. И такая книга, между прочим, еще могла получить Сталинскую премию первой степени в 1946 году! Проработки Твардовского начались много позже, когда его стали попрекать «непониманием роли партии».

В общем, «тот самый длинный день в году» (Константин Симонов) стал символом большого горя, но и временной свободы. Победа, отделившись от своего подлинного значения, была использована государством и вождями для оправдания своего существования. А благодарность товарища Сталина русскому народу и прочим «винтикам» была забыта.

## Тающий снег, пахнущий огурцом

С относительной свободой военных лет было покончено чрезвычайно быстро. Прерванное Великой Отечественной бронзовение и ужесточение политического режима продолжилось с новой, параноидальной силой. Сталинская эра стала стилеобразующей для всех эпох, которые в последующей истории страны приходили вслед за либерализационными периодами — хрущевским, горбачевским, ельцинским.

Сталина становилось тем больше, чем более отчетливые черты обретал зрелый российский авторитаризм госкапиталистического типа. Мемориалы и музеи, появление которых технически было бы невозможно без поддержки властей. Возложение цветов к бюсту генералиссимуса у Кремлевской стены коммунистами, ободренными почти официальным шельмованием Никиты Хрущева. Плакат на остановках общественного транспорта... Неуспокоенные тени вождей на Красной площади и останки первого вождя под охраной солдат в XXI веке словно бы мистическим образом мешают нашей несчастной России быть похожей на нормальную страну и жить будущим, а не прошлым. Искать успехи в сегодняшнем дне, а не вчерашнем, не превращать поражения прошлого в победы, договориться, наконец, о том, что уничтожение миллионов людей и полуголодная, десятилетиями, жизнь — это зло, а не добро.

Страна управляется из Кремля, советского некрополя, — какое может быть согласие и примирение, сколь наивны были мечты о российском аналоге испанского «пакта Монклоа», которые владели умами политических деятелей в 1990-е. Да, вот уже несколько лет после Крыма усугубляется «консолидация», но ценой превращения страны в осажденную крепость. Возможно и «единение», но только ценой фактического раскола нации и вытеснения на обочину, маргинализации, а иногда объявления тех, кто не входит в число «одобряющих деятельность президента», «национал-предателями».

В стране, несущей цветы к праху убийцы и так и не пережившей покаяния, а значит, не переварившей своей истории, исчезло будущее, осталось только прошлое.

Это не восстановление культа личности и его последствий — это культ неизменяемости. Притом что люди в стране сами сильно изменились после 2012 года, а еще сильнее — после 2014-го. Индикаторов очень много. И удобнее смотреть даже не на рейтинги Сталина, а на отношение к его времени. Опрос Левада-Центра в конце февраля 2016 года: время Сталина принесло больше хорошего, чем плохого, — так считали 40% респондентов. И дело даже не в том, что в августе 1994 года этой точки зрения придерживались всего 18% россиян — на 22% меньше! А в том, что в октябре 2012-го таких было 27%, — за неполных четыре года очередного срока президента Путина сталинское время прошло полную реабилитацию в глазах 13% респондентов. Это очень быстро и очень много.

Сталинская и брежневская эпохи — периоды неизменяемости, контрреформ и стагнации. За это их и любят. Брежневская эра, 30 лет назад казавшаяся одновременно смешной, тоскливой, марз-матической, сегодня нравится 51% россиян — это время выигрывает в симпатиях даже у сталинского.

А путинское — с 70% — переигрывает брежневское. Вероятно, потому что оно перенимает все «лучшее» у Сталина и Брежнева. Наихудшие времена в представлении россиян — хрущевское, горбачевское, ельцинское. Ровно те периоды, когда людям дышалось и жилось легче, когда они становились свободнее, когда появлялась надежда на перемены и когда эти перемены действительно происходили.

Кстати, ленинское время россиянам тоже не очень нравится. Так что можно понять коммунистов, которые за Ленина после горьких слов о нем Путина не слишком заступились, зато с энтузиазмом стали пинать ногами Хрущева вслед за первым лицом.

Всего за несколько лет после присоединения Крыма разрушена иммунная система большинства нации. Утрачен рецепт антидота, который может быть употреблен в случае отравления трупным ядом сталинизма.

Но этот мощный рост популярности Сталина и его эры сигнализирует и о некотором неблагополучии в восприятии путинской эпохи. Получается, что нынешнее начальство — недоста-

точно сталинистское, жестокое, архаичное. А надо бы — в целях установления большего порядка (почти 20 лет у власти не хватило!) — быть более сталинистским, жестоким, архаичным. В этом месседж?

Едва ли. Сталинский миф — это история «побед». Хватило мифа индустриализации (полностью заимствованной) и победы в Великой Отечественной (произошедшей не благодаря Сталину, а вопреки ему — и здесь можно согласиться с митрополитом Илларионом в том, что это было чудо), чтобы в головах людей сформировалась легенда об утраченном рае. А сейчас живется нелегко — нет парткома и профкома, люди думают все равно по-разному, каждый день приходится делать выбор, экономика в перманентной депрессии. Как тут не сделать протестный выбор в пользу сталинского мифа?

Получается, что, восхваляя Сталина, люди выражают свое латентное неудовольствие Путиным? И снова едва ли. Все хорошо и правильно. Однако, как говорилось в скетче Аркадия Райкина, «чего-то не хватает». Сталина на нас нету!..

...Волшебным образом ровно за день до 60-летия доклада Хрущева на XX съезде я случайно купил в букинистическом магазине «Оттепель» Ильи Эренбурга 1956 года издания. Оно, разумеется, не первое. Илья Григорьевич принес рукопись в редакцию «Знамени» в начале 1954-го, она увидела свет очень быстро, в майской книжке, затем вышла отдельным изданием — скромным, словно бы кто-то, озираясь на начальство, пробовал воду, тиражом 45 тысяч экземпляров. В декабре 1954-го на втором съезде советских писателей повесть ругали, память Сталина почтили вставанием.

В своих мемуарах Эренбург сетовал на то, что повесть мгновенно разошлась, но допечаток не было. В Венгрии «Оттепель» была издана тиражом 100 экземпляров для партийного руководства. Издание 1956 года с изящной акварельной суперобложкой, попавшее мне в руки, сдано в набор в сентябре 1956-го, а до этого его надо было еще поставить в план «Советского писателя» — то есть сам издательский процесс стал очевидным следствием февральского пленума и доклада о культе личности. Или, скорее,

июньского постановления ЦК о преодолении культа личности и его последствий.

Но тираж — опять пугливый, 30 тысяч... Эренбург очень много значил для поколения моих родителей — а как могло быть иначе, если его роман «Падение Парижа» мог начаться с нездешних слов «Мастерская Андре помещалась на улице Шерш-Миди», и за это еще и давали Сталинскую премию первой степени, — поэтому в нашей домашней библиотеке его произведений тех лет немало. Есть с чем сравнить. И эти 30 тысяч ничто по сравнению, например, с романом «Девятый вал», вышедшим в 1953-м тиражом 150 тысяч экземпляров. Это там, где в конце произведения происходит «апофигей» — демонстрация на Красной площади, «Нина Георгиевна смотрела на Сталина; он улыбался...».

В «Оттепели» Сталин не улыбается. В этой, в сущности, слабой повести, но по-ремесленному мастерски сделанной в жанре производственной драмы, улыбаются люди. Тиран только умер, а у Эренбурга они улыбаются. Плачут. Страдают от запретной любви. Мучаются от собственного приспособленчества. Заводской персонал состоит из людей со сложными характерами — они постоянно творят, выдумывают, пробуют и зверски ссорятся.

Еще не пожелтела бумага с доносом Лидии Тимашук на врач-убийц, а у Эренбурга Вера Григорьевна Шерер, врач-еврейка, положительный и мятущийся персонаж, вдруг остается на ночь у любимого человека, которому 58 лет и у которого дочь за границей. Больше того, герои Эренбурга успели прочитать роман Василия Гроссмана — явным образом имеется в виду «За правое дело». В конце повести значится — 1953–1955. Значит, Эренбург что-то дописывал после журнальной публикации — возможно, как раз про Гроссмана, тихо, в полстроки, почти контрабандой, — и дописал.

А один из героев «Оттепели», Евгений Владимирович Соколовский, главный конструктор (здоровье не бережет, в любви к докторше признаться боится) говорит о времени, которое, как считают 29% сегодняшних россиян, принесло «больше плохого, чем хорошего», а 23% убеждены, что «не принесло ничего особенного», ключевые слова: «Выпрямились люди». В мемуарах



«Люди. Годы. Жизнь» Эренбург вспоминает, как весной 1956 года к нему пришел студент Шура Анисимов и сказал: «Знаете, сейчас происходит удивительное — все спорят, скажу больше — решительно все начали думать...»

Выпрямились и начали думать. То есть в терминах нашего нынешнего карикатурного пародийного языка, которым вдруг заговорила нация, — встали с колен. Не тогда, когда захотели обратно в пропахший «Герцеговиной флор» уют сталинской шинели, а тогда, когда почувствовали запах оттепели, пахнущего огурцом тающего снега, перестали стесняться рефлексии и начали обретать человеческие чувства.

И этой повести — осторожной и почти проходной — было достаточно, чтобы ее название дало имя целой эпохе, одной из самых продуктивных в истории страны. И все потому, что таким чутким и перезревшим было ожидание перемен.

Сейчас перемен если и ждут, то все равно гонят из реальной жизни и, что хуже, из голов и душ. В этом принципиальное отличие той эпохи от сегодняшней, отличие времени, предшествовавшего перестройке, от нынешней посткрымской эры всеобщего «одобрения деятельности».

Но в монолите иногда очень быстро обнаруживаются зазоры и трещины. А власть, представлявшаяся прочной, далекой, сработанной на века, как сталинский дом, при ближайшем рассмотрении оказывалась трухлявой.

Наверное, не мне одному выдающийся художник Борис Иосифович Жутковский, сначала обруганный Хрущевым, а потом сблизившийся с ним, рассказывал историю про то, как чуть ли не на следующий день после смерти Сталина он отправился на лыжах посмотреть на ближнюю дачу вождя в Вольнском — поскольку жил, да и сейчас живет неподалеку. В заборе этой, в сущности, главной после Кремля географической точки страны зияла здоровенная дыра, через которую можно было легко проникнуть в святая святых: «Тихо, никого нет — охранная будка с выбитыми стеклами... И только одна тетка выходит в ватнике, в валенках, с ведром и идет к речке полоскать тряпки».

Сказано же — оттепель...

## О неискренности в литературе

Александр Твардовский в первый раз в своей биографии был снят с должности главного редактора «Нового мира» 11 августа 1954 года. Следующий его приход в легендарный журнал под голубой обложкой, ставшей символом советского либерализма, оказался куда как более основательным: Александр Трифонович руководил журналом целых 12 лет. А пока идеологическое начальство тасовало колоду классиков-редакторов — попеременно назначало и снимало то Константина Симонова, то Твардовского.

Отставка в 1954-м была модельной идеологической поркой по всем правилам партийно-гэбэшных разборок. Сначала редколлегия журнала досталось за неправильную, позитивную оценку романа Василия Гроссмана «За правое дело»: 24 марта 1953 года вышло постановление президиума правления Союза советских писателей по этому поводу. А в 1954-м Твардовскому припомнили все старые и новые грехи. И особенно те, которые пришлось на временное редакторство отделом критики Игоря Саца, напечатавшего ставшие потом «штрафными» статьи Владимира Померанцева, Федора Абрамова, Михаила Лифшица и Марка Щеглова. Изысканный стилист Михаил Лифшиц прошелся по Мариэтте Шагинян. Замечательный писатель Владимир Померанцев в статье — даже скорее в очерке — «Об искренности в литературе» дал под дых социалистическому реализму, обвинив его в «деланности» и «неискренности». А тут еще сам Твардовский с попытками напечатать «Теркина на том свете» с его «загроббюро», в котором немедленно были усмотрены соответствующие аллюзии.

Это только критик-почвенник Вадим Кожин мог рассуждать десятилетия спустя о том, что причиной снятия Твардовского был его «сталинизм», обнаружившийся в поэме «За далью — даль». Со Сталиным и сталинизмом у классика советской поэзии и в самом деле были непростые и витиеватые отношения. Но уже не в тот период. Редактор «Огонька» Софронов был более откровенен и точен в оценках в ходе публичной порки Твардовского — он выра-

зился в том смысле, что разгром «Нового мира» положит конец всем разговорам «о НЭПе в идеологии». Литература, несмотря на смерть тирана и приближавшуюся оттепель, осталась «могучей идеологической крепостью».

25 мая газета «Правда» «замочила» знаковых новомирских авторов — от Померанцева до Щеглова. В начале июля много шума наделало письмо в «Правду» 41 студента мехмата в защиту Померанцева. Мотором акции стал студент третьего курса Кронид Любарский — и о нем мы еще поговорим в этой книге. Он устроил обсуждение статьи и письма. Скандал был страшный. Пришлось организовывать общеуниверситетский митинг, на который приехали ни много ни мало Алексей Сурков, Константин Симонов, Борис Полевой, редактор «Литературки» Борис Рюриков. Автор «Повести о настоящем человеке» даже отнес Любарского к «плесени», что того немало удивило: он никогда не «шатался по улице Горького под музыку пластинок Лещенко» и не «смотрел на мир сквозь потные стекла коктейль-холла». Собрание закончилось порицанием студента Любарского и его выступления. Потом его пытались исключить из комсомола, но почему-то неудачно...

23 июля 1954 года вышло постановление секретариата ЦК, в котором участь Твардовского была предрешена — история разворачивалась в сторону идеологической диверсии. А 11 августа постановление президиума правления ССП формально проштамповало приговор: Твардовский был снят с должности за «абстрактно понятую искренность», двенадцатую книжку «Нового мира» за 1953 год со статьей Померанцева припомнили особо. 12-го же августа партгруппа правления ССП завершила процесс исключения публичной «дискуссией». Владимир Лакшин в своих мемуарах приводит свидетельство очевидца: «А. Т. [Твардовский] сидел у окна, курил сигарету за сигаретой. Потом негромко произнес: «Когда здесь покойников выставляют, никого не дозовешься в почетном карауле постоять. А тут живого Твардовского вперед ногами выносить будут — и вон сколько доброхотов набежало». Из цековской докладной следует, что на обсуждении Александр Трифонович вяло признавал ошибки («Я переоценил свои воз-

возможности как редактор журнала»), но отказывался учитывать претензии по поводу «Теркина», упирая на то, что обещал Хрущеву доработать поэму так, чтобы она была полезна партии и народу.

Сейчас даже трудно себе представить, сколь зловеще звучала в первый послесталинский год формула обвинения «клеветнические выпады против советского строя». Но дело даже не в этом. История первого разгрома «Нового мира» напрашивается на исторические параллели и социологические оценки. И вот почему.

Как ни пафосно это звучит, «Новый мир» Твардовского боролся не только за честность («искренность»), а значит, против цензуры, не только за справедливость (Померанцев, будучи в прошлом прокурором, вытаскивал из тюрем невиновных, собственно, об одной похожей истории и была его статья), но и за свободу. «Мы друг друга не пойдем, товарищ Поликарпов. Вам свобода не нужна, а мне нужна», — сказал, оказавшись на профилактической беседе на Старой площади, Владимир Померанцев.

Вот в этом вся соль нашей сегодняшней ситуации — кому при формальном отсутствии цензуры и Главлита нужна свобода, а кому не нужна. Механизмы самоцензуры, исключающие всякую «искренность» в сколько-нибудь высокотиражной журналистике, работают не хуже советской цензурной механики.

Самоцензура путинской стабильности отличается от советской ломовой цензуры, как изящное хайтековское изобретение от мартиновской печи времен сталинской индустриализации. Впрочем, собственно цензура уже идет в хайтек — в мессенджеры и интернет-реальность.

Никто никого не принуждает писать осторожно и не о том, о чем действительно стоит писать. Но клавиатура компьютера сама выводит нужные слова и останавливает руку там, где можно подставить редактора отдела перед главным, главного — перед инвестором, инвестора перед... известно кем.

Чем нынешняя эпоха отличается от эры литературных погромов, так это высокой степенью взаимного равнодушия — власти к литературе и публицистике, публицистики и литературы к власти.

Никто не выходит за оговоренные границы, хотя стоит их перейти, как могут начаться проблемы. Потому и не переходят.

Беда, как оказалось, даже не в том, что насаждается стилистика политического единомыслия. Проблема в отсутствии иммунитета от эстетики единомыслия. Твардовских и Померанцевых в мире больших медиа все равно больше нет. Никто не рискует брать на себя их роль. А тем, кто не рискует, не нужна свобода, в которой, в отличие от товарища Поликарпова, так нуждался Владимир Михайлович Померанцев.

### Раскол по «Жизни и судьбе»

И еще раз о Гроссмани, создавшем проблемы Твардовскому сначала в 1950-е, а затем в 1960-е.

Канал РТР в 2012 году запустил высококачественный сериал по жестко антисталинистскому роману «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. И, словно бы извиняясь за качество работы режиссера Сергея Урсуляка и литературного материала, канал испортил впечатление от фильма дискуссией в ток-шоу Владимира Соловьева.

В заставке говорилось, что тема «до сих пор раскалывает народ». Но Василий Гроссман никого не раскалывал. Он написал великолепную правдивую книгу, не поленившись обосновать свою позицию романом в 41 авторский лист. В «Жизни и судьбе» все вещи, в том числе и ценности, ставшие лучшими друзьями нашей власти и ее массовки — жесткий политический режим, слепота веры, ксенофобия, названы своими именами. И в этом была его проблема. Именно поэтому Александр Твардовский смог через помощника Никиты Хрущева протолкнуть публикацию «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына, а почти в то же самое время органы изъяли из сейфа «Нового мира» одну из немногих машинописных копий «Жизни и судьбы».

Она была страшнее для советской власти, потому что вскрывала ее, выражаясь сегодняшним языком, анатомию. Какой уж тут раскол: зло — это сталинизм, добро — это нормальные человеческие чувства, которые корежатся сталинизмом.

Публикация произведений Гроссмана, писателя сурового и безжалостного, у которого даже маленькие рассказы словно бы добываются из неподатливого камня, три десятилетия назад стала серьезным шагом в десоветизации и десталинизации сознания читающей и рефлексирующей публики. Хотя, конечно, главную роль сыграла почти публицистическая по эмоциям повесть «Все течет». «За правое дело» и «Жизнь и судьба» даже для прилежного перестроечного читателя оказались чрезмерно масштабными и эпохальными. Экранизация романа Гроссмана — а значит, его популяризация — состоялась именно в эпоху почти зрелого Путина. Но, вместо того чтобы воспринимать роман как естественную, органическую часть приговора сталинизму, который, вообще говоря, должен был бы стать фундаментом так и не состоявшегося общенационального консенсуса, его используют как повод для дискуссии, снова и снова возбуждающей самые низменные инстинкты. Потому что сталинизм — это один из низменных человеческих инстинктов, отказ от рефлексии, оправдание убийства, сознательные обман и самообман, основа которых — подлость и доносительство.

Почему дискуссии о сталинизме искусственно поддерживаются, в том числе и телевидением? Потому что Сталин популярен у той части масс, которой мало даже путинского «порядка», но тем самым этот «порядок» оправдывается.

Потому что действительно раскол страны идет по линии истории. Потому что этот раскол повторяет очертания нынешнего политического ландшафта — вот вам Поклонная за Сталина, вот вам Болотная против Сталина, Васильевский спуск за власть, Пушкинская площадь против. И им не сойтись никогда.

Но между тем национальный консенсус, в том числе по поводу истории, у нас уже был — в конце 1980-х. И без этого согласия именно по поводу истории Советский Союз никогда бы не развалился — одной экономики и политики мало. Теперь нас убеждают в том, что никакого национального консенсуса по сталинизму быть не может, и роль Сталина надо лишний раз пообсуждать. Например, с участием режиссера Бортко, который истерически кричал, оставив в стороне содержание «Жизни и судьбы», что,

«если бы не Сталин, мы бы здесь не стояли». И это неделикатное зрелище происходило при дочери Гроссмана Екатерине Коротковой-Гроссман. Стояли бы и сидели бы (в хорошем смысле) без всякого Сталина, чья политика на протяжении многих десятилетий оставила такой след в российской демографии, что мы и сейчас живем внутри заданного им в буквальном смысле убийственного тренда.

Словом, роман «Жизнь и судьба» снова стал поводом для скандала. Полвека назад роман арестовывали и укоротили его автору жизнь — почти по тому же сценарию травли, что и Бориса Пастернака. Полвека спустя после этих событий роман сделали информационным поводом для того, чтобы лишний раз прокричать на всю многомиллионную телевизионную околицу о величии товарища Сталина и русского народа, который только и может называться народом-победителем (вполне в духе соответствующего тоста «за русский народ» товарища Джугашвили).

Гроссман все время оказывается в центре скандалов, потому что спорить с ним трудно, потому что его литературный материал правдив и бьет резко, наотмашь. Именно его произведения всегда вгоняли в ступор советскую власть и ее главного идеолога Михаила Суслова. Сухой и непреклонный Михаил Андреевич действительно сказал Гроссману при личной встрече, что книга может быть опубликована только через 200–300 лет, пообещав взамен пятитомное собрание сочинений. Тот же Суслов спас от сожжения (в буквальном смысле) фильм Александра Аскольдова «Комиссар» по рассказу Гроссмана «В городе Бердичеве». Но при этом, разумеется, не разрешил выпускать его на экран. Александр Яковлевич, который методично бился за свой арестованный фильм, рассказывал мне, как грубоватый заведомо пропаганды ЦК Владимир Степаков дико наорал на него, а потом, по-мужски обняв, сказал: «Неужели ты не понимаешь, что при нашей жизни фильм не выйдет?»

Какие струны затрагивает Гроссман, в какой нерв нашей власти — советской ли, постсоветской — попадает, что вокруг его прозы и ее экранизаций идут нескончаемые тяжелые многолетние позиционные бои?

...Физик Виктор Штрум, вынужденно подписавший подлое письмо, из тех писем, которые теперь с легкостью, без риска для репутаций подписывают мастера культуры, кляня себя за слабость, покорность, «страх перед новым разорением жизни», говорит себе: «Каждый день, каждый час, из года в год, нужно вести борьбу за свое право быть человеком, быть добрым и чистым. И в этой борьбе не должно быть ни гордости, ни тщеславия, одно лишь смирение. А если в страшное время придет безвыходный час, человек не должен бояться смерти, не должен бояться, если хочет остаться человеком».

Против этого лома у сталинизма не было приема. Нет и теперь. Потому Гроссман опасен для них даже сейчас.

### Слякоть вместо оттепели

Слово «оттепель» вернулось в словарь повседневности. Стоит только кому-нибудь в Кремле чихнуть со всей неопределенностью и двусмысленностью очередного «сигнала», как сразу все начинают беспокоиться: «Неужели оттепель?»

И вот уже Кириенко предстал в облике человека, который чуть ли не XX съезд готовит, а стратегии Кудрина ждали как нового, но слегка задержанного Главлитом номера «Нового мира» Твардовского. А там, глядишь, обнаружится «Один день Ивана Денисовича»... В Третьяковке на Крымском валу и Музее Москвы прошли грандиозные выставки об оттепели. Выставка в ГМИИ. Откуда такой внезапно проснувшийся интерес?

Объяснение простое: зависть.

Те, кто устал от агрессии и ненависти, разлитой в атмосфере, от принуждения к всеобщей присяге «духовно-нравственным» ценностям, в которых перемешаны православный официоз и представления о безопасности страны времен борьбы с космополитами, от ностальгии по Сталину, завидуют той эпохе, когда этого не было. Во всяком случае — романтизированному образу той эпохи, которая ведь и в самом деле была уникальной в истории страны.

Тогда в известном смысле тоже было единство, но только не



на основе строительства осажденной крепости, а, напротив, некоторого размывания ее фундамента. Сейчас Сталина вносят в массовое сознание как одну из «скреп», как один из исторических «якорей» для «правильного» понимания, что такое хорошо, а что такое плохо, а в 1960-е его выносили — и из мавзолея, и из мозгов.

Тогдашний политический режим тоже цеплялся за прошлое — но не за темные его страницы, а те, которые были серые, — романтизировал и обелял. Тогдашним «мейнстримовским» коммунистам, в отличие от нынешних, у которых ничего, кроме Сталина и одновременно крестного знамения не осталось, и в голову бы не пришло обложить цветами могилу вурдалака.

Никто не носился с фиктивным примирением «красных» и «белых» — власть четко заявляла, на чьей она стороне. Но «красные» были этикие добрые рыцари, и у них имелись идеалы, а не скрепы (если, конечно, не иметь в виду прочную марксистско-ленинскую основу, но она оставалась декорацией, а кто же всерьез обращает внимание на фон). Скрепа — это о прошлом. Идеал — это о будущем. Оттепель была большой чисткой идеалов, но для того, чтобы двигаться вперед, а не самосохраняться и отливаться в граните.

Сейчас же провонявшие сырým сараем скрепы извлекают из подвалов имперской истории, чтобы изготовить из них хоругвь и с песнопениями двигаться как можно дальше назад — приблизительно во времена oprичнины, но с айфонами и телевизионными тарелками, чтобы в любой глухомани принимать сигнал федеральных каналов.

Пиар хрущевской эпохи оказался очень удачным — объявить часть истории хорошей, противопоставив ее плохой, и назвать себя прямыми наследниками хорошего — особенно революции и Великой войны: это стратегия удобного для всех компромисса.

Но при этом оттепель могла похвастаться реальными достижениями — не прошлого, а настоящего. Полет Гагарина и сегодняшним общественным мнением оценивается как одно из величайших достижений в истории страны. Но ведь он почти совпал с передачей Крыма! Как же одно вяжется с другим?

Да, Хрущев орал на художников, которых он обзывал «абстракционистами» и еще одним нехорошим словом на выставке в Манеже. И шельмовал молодых поэтов и писателей. Но что это были за «абстракционисты», какого запредельного уровня! И какие это были поэты и писатели — их же можно читать и сегодня: даже тот же ранний, адаптированный к коммунизму Аксенов несравним ни с чем из того, что производится сейчас.

Еще раз: речь не о конкретно-исторических обстоятельствах хрущевской версии социализма, авторитарной с сохраняющимися элементами тоталитаризма, а о духе эпохи.

Негласный контракт сработал: одни соглашались на очищенный и романтизированный социализм без Сталина, но с Лениным (с этого, кстати, начинался ремейк оттепели — горбачевская перестройка), а другие допускали некоторое расширение степеней свободы. И этого оказалось достаточно для того, чтобы изменились настроения, возникли феноменального уровня для подцензурных обстоятельств литература, искусство, кино, театр. Возник культ науки, и интерес к Западу формировался через внимание к его научным успехам.

У этой эпохи был стиль. Люди даже одеваться старались не так скучно и коряво, как в 1970-е и 1980-е. У этой эпохи была... эстрада. И на том месте, где сейчас штырем торчит невыносимая пошлость, у шестидесятичной попсы обнаруживались наивность и, если угодно, нежность. Та самая, из песни. Массовая песня дала язык, которым можно было говорить не о Ленине, а о нормальных человеческих чувствах. Пьеха пела с иностранным акцентом, Кристалинская проникала в душу — «он прошел и не заметил», Мондрус оголяла плечи и ноги до колен и, страшно сказать, при этом имела голос!

Физики, лирики, Гагарин, «голубые огоньки» с космонавтами и даже обещанный в программе партии 1961 года коммунизм составляли, если угодно, позитивную программу для мейнстримовского большинства и быстро росшего городского среднего класса, переселявшегося в маленькие, но отдельные квартиры, территорию частной жизни.

Шестидесятые дали мечту. Мягкая, а не жесткая сила составляла конкурентное преимущество оттепели, притом что жесткой

силой власть пользовалась неумело, едва не подняв на воздух весь мир во время Карибского кризиса.

При этом режим мог чувствовать себя в полной безопасности: большинство разделяло базовые идеологические принципы. Но только потому, что они казались органичными этому типу общества. Да, атомная бомба нужна. Однако по той причине, которая сформулирована в кино, например в «Девяти днях одного года», где герой Баталова, физик-ядерщик, объясняет отцу: мол, если бы не бомба, батя, нас бы давно уже на земле не было. Популярное объяснение мутной доктрины ядерного сдерживания.

Все это примиряло людей с режимом. До поры до времени — пока он не впал в спячку после 1968-го. Тогда уже процесс примирения продолжался не на основе единства идеалов, а на лицемерии, взаимном обмане и равнодушии. Что и взорвало империю изнутри — цинизм как всеобщая конвенция сдетонировал сильнее, чем рухнувшие цены на нефть и милитаризация экономики. Ведь развал империй и режимов происходит прежде всего в головах.

Вот мы и завидуем — тайно и явно — шестидесятым. Их достижениям, их обращенности в будущее, ощущению исторической правоты, согласию людей с самими собой и — до некоторой степени — даже с властью. Их романтизму, наивности и доброте.

И это, если угодно, наша контрпамять, которую мы противопоставляем сталинизирующемуся официозу. У них — Сталин, у нас — шестидесятые, тем более что они существуют в живой памяти, и пластинка с какой-нибудь «Гуантанамерой» наворачивает свои круги перед внутренним — детским — зрением, просмотр же черно-белого даниелиевского или хуциевского кино — это не отстраненное наблюдение за чужой эпохой, а узнавание.

Официозная память гордится чем угодно, только не духом шестидесятых. Ей неприятно, что это был короткий период, когда нация действительно была в известном смысле единой, а держава — по крайней мере по общему ощущению — великой.

Карикатуре всегда неприятен подлинник. Слякоть твердо знает, что она не оттепель.

## Это ушли барбудос

Какая оттепель без романтического революционного мифа?

«Слышишь чеканный шаг — это идут барбудос», — громыхал над страной мощный голос Муслима Магомаева, исполнявшего песню 1962 года Пахмутовой — Добронравова.

Спустя годы после исторического рукопожатия Барака Обамы и Рауля Кастро барбудос ушли. Ушли, оставив за собой руины одной из наших духовных скреп — вечнозеленого, пахнущего карибским прибоем, обрывками газеты Granpa, мужским революционным тропическо-сигарным братством и не менее революционным сексом советского кубинского мифа.

Потеряв Украину, сделав все, чтобы с Роспотребнадзором наперевес напрячь отношения внутри своей «квазиимперии» — Евразийского союза, Россия проморгала Кубу, свой «исторический» форпост, свою пиратскую советскую базу в Карибском море.

В экономическом отношении на самом деле ничего особенного. Настроения «хватит кормить Кубу» имели давнюю историю. Прагматически настроенные граждане СССР на мотив «идуших барбудос» сочинили прекрасную песенку: «Куба, отдай наш хлеб! Куба, возьми свой сахар! Нам надоел твой косматый Фидель. Куба, иди ты на ...!» Собственно, здоровые экономико-политические процессы в отношениях с островом начались как раз в период либеральных реформ, когда России было, мягко говоря, не до островного тропического сознания, искалеченного марксистской утопией и ползущими по джунглям команданте.

Для Никиты Хрущева после выдыхавшегося эффекта XX съезда Куба, как и для Владимира Путина Крым, была настоящим подарком: революционной романтикой острова можно было охмурить целиком весь советский народ.

Ровно поэтому на всех фотографиях с Кастро Никита Сергеевич выглядит абсолютно счастливым, так и льнет к прокуренной гимнастерке команданте. (Испанский язык еще играл роль «сноски» к другому романтическому мифу, который сильно помог легитимации Сталина, — испанскому.)

Ту же функцию — возвращение к подлинным революционным истокам, где вместо галстука — гимнастерка, вместо гладко выбритых стариковских брыл — черные джунгли бороды, — неувядающий Фидель играл и для других бронзовевших на ходу советских начальников. Оттого его с таким удовольствием лобзал — еще до Хонеккера — Леонид Ильич. И питался соками революции, черпая в ней обоснование «правоты нашего строя».

Кастро нужен был Советам в качестве источника романтики. Хотя, конечно, Фидель отвязывался и испытывал терпение своих покровителей. Критиковал их за то, что не помогли арабам в Шестидневной войне, выражал симпатии китайцам, экспортировал без спроса революцию.

Мало нам было кризиса 1962 года, когда сравнение из стихов Добронравова «небо над ними как огненный стяг» едва не стало ядерной явью, потом едва не состоялся второй кризис осенью 1970-го, а в 1975-м Куба перебросила свои отряды через океан в революционную Анголу. Причем за счет СССР, но без его разрешения: Фидель кутил, используя безлимитную «корпоративную» карточку.

Ну а потом настало время, когда миф обветшал и выветрился.

Было немного жаль романтической «Гуантанамеры» (которая, правда, лично мне надоела еще с детсадовских времен, потому что старший брат запирался в нашей с ним общей комнате с подругой, бесконечно крутя на проигрывателе эту «девушку из Гуантанамо») и сигарет «Партагас» со сладкой папиросной бумагой. Кое-кто так и не смог расстаться с мифом, держа у себя в кремлевском кабинете портрет Че Гевары, имидж которого был, правда, несколько шире и острее образа Фиделя, в газету с речами которого можно было завернуть слона.

В эпоху «великого возвращения» — возвращения «чувства великой державы», возвращения России в пределы «исторической Руси», возвращения в Азию (Африку, Латинскую Америку — нужное подчеркнуть) — российская дипломатия пыталась разворошить давно уже холодный пепел российско-кубинской дружбы.

Кубинское руководство и само бы радо, но нет вообще никакого смысла «ворошить прошлое» и подыгрывать чьему-то там воз-

вращению. Да и перевозбудить широкие народные российские массы образом революции уже немислимо: кубинский «майдан» был давно, Фидель с Раулем выглядят не очень свежими, «цветные революции» у нас караются длительными сроками тюремного заключения.

Самое время кубинцам вернуться во времена Эйзенхауэра и поменять «старшего брата». Крым наш, Куба — их. Куба — si, янки — тоже да.

Это ушли барбудос.

## Хрущевская рулетка на американских горках

Однако объединительный романтический кубинский миф едва не стоил миру катастрофы. Карибский кризис 1962 года — напоминание о том, что масштаб личности в мировой политике и дипломатии имеет принципиальное значение.

Во время Карибского кризиса посол СССР в США Анатолий Добрынин следующим образом отправлял письма Джона Кеннеди Никите Хрущеву: шифрованная телеграмма передавалась приехавшему на велосипеде парнишке из Western Union, столь популярного сегодня у гастарбайтеров, и он отвозил ее в свой офис. Добрынин в такие минуты очень надеялся, что в соседних кварталах у парня нет подружки — задержка могла дорого стоить жизни на планете, в том числе самому существованию мальчишки из почтового агентства...

Проекты текстов посланий президента США премьеру СССР готовил ближайший советник и спичрайтер главы американского государства Тед Соренсен — человек, про которого говорили, что он может закончить фразу, начатую Кеннеди. Спустя годы тогдашний министр обороны США, знаменитый Роберт Макнамара, скажет, что именно Соренсен определил позицию американской стороны. Если быть точным, первый, соренсовский, набросок письма Хрущеву, которое так и не было никогда отправлено, заставил штаб кризиса, так называемый ExComm, задуматься над аргументами «голубей», сторонников второго плана — плана морской блокады Кубы вместо бомбардировки и вооруженного вторжения на

остров. В этом смысле да, конечно, Соренсен предотвратил ядерную зиму.

Роль личностей в этой истории, едва не закончившейся третьей мировой, ядерной, войной, вообще была чрезвычайно велика. Причем как в начале конфликта, так и в его сворачивании.

История кризиса расписана поминутно в бесчисленных статьях, книгах, фильмах, свидетельствах и даже пьесах, одна из которых принадлежит перу Федора Бурлацкого, который готовил речь Хрущева перед Верховным Советом сразу после окончания карибской истории. И все они говорят о безусловно выдающейся выдержке Джона Кеннеди. Давление на него со стороны «ястребов» — в погонах и без — казалось беспрецедентным. Трудно было не начать боевые действия после того, как советская ракета сбила самолет U-2 и майор Рудольф Андерсон стал единственной человеческой жертвой этого противостояния. Нелегко было сохранить самообладание, когда другой пилот, вылетевший с базы на Аляске, почему-то оказался над Чукоткой и едва ноги (крылья) унес. По этому поводу Кеннеди только и обронил с досадой: «Всегда найдется хотя бы один сукин сын, до которого не дошли указания».

Твердости и хладнокровию Кеннеди, который сумел потушить собственную гордость и предубеждения военных, мир обязан тем, что он еще в принципе существует.

Никита Хрущев, при всей его импульсивности, в сущности, сумел признать свои ошибки, о которых китайские товарищи — большие в то время недоброжелатели СССР — сказали, что тактически размещение ракет и нескольких десятков тысяч советских военных на Кубе было авантюрой, а стратегически — капитуляцией. Хрущев так не считал. По воспоминаниям Бурлацкого, во время «отчетного» выступления первое лицо СССР светилось от счастья — мировой катастрофы удалось избежать. И он, Хрущев, не стал причиной гибели мира.

Технической ошибкой, спровоцированной, согласно разным источникам, то ли маршалом Малиновским, то ли маршалом Бирюзовым, стал секретный характер размещения — то есть

считалось, что примерно 100 кораблей в рамках операции, для наивного отвода глаз названной «Анадырь», и монтаж ракет удастся скрыть от США. Хрущев хотел тем самым показать класс — запустить «ежа в штаны» дядюшке Сэму, вместо того чтобы сделать это открыто в рамках международных норм и дипломатических правил — в ответ на американские ракеты в Турции.

В этом сказывался не только характер Хрущева и чрезмерная боевитость советских военачальников, но и комплекс неполноценности главы советского правительства. Разумеется, он знал, что никакого паритета нет и СССР сильно отстает от Америки. Но дело не в военном отставании. Хрущев в принципе хотел говорить с США на равных, а это никак не получалось.

Почему они могут размещать ракеты в Турции, а СССР не может на Кубе? Но и это не главное. А главное в том, что Штаты переигрывали СССР в привлекательности своей системы, своего образа и уровня жизни. Социализм проигрывал капитализму в бытовом смысле — это всегда беспокоило Хрущева. Отсюда и его «кухонные дебаты» с Ричардом Никсоном в американском павильоне в Сокольниках в 1959 году. Отсюда и бесконечные идеологические споры и агитация за советскую власть с прогнозами лучшей жизни во время поездки Никиты Сергеевича в США в том же году в гости к Дуайту Эйзенхауэру. Отсюда, наконец, и сама матрица, внутри которой мы до сих пор живем, — ДИП («Догнать и перегнать Америку»). Матрица, не просто нашедшая свое отражение в Программе КПСС 1961 года, но во многом определившая само ее содержание и целевые показатели. Хрущев хотел победить капитализм в мирном экономическом соревновании, но в результате вступил в политическое и геополитическое противостояние, едва не переросшее в военное.

Однако решение начать демонтаж ракет на Кубе, возможно, транслированное ничего не подозревавшим пареньком из Western Union, который еще не успел обзавестись девушкой в округе, что и спасло цивилизацию, стало решением политика мирового масштаба. Большой политик от мелкого отличается тем, что умеет открыто признавать свои ошибки и исправлять их. И, надо ска-



зять, на Хрущева ведь тоже давили. И в том числе Фидель Кастро, который просто использовал советского вождя: в один прекрасный день он отправил ему телеграмму с прямым призывом не упустить возможность и принять страшное, но единственно верное решение, которое позволило бы покончить с гегемонией США. Много лет спустя Тед Соренсен в тосте деликатно припомнил Фиделю эту историю, но тот заявил, что требовал войны только в случае прямого вторжения США на Кубу в те октябрьские дни.

Тринадцать дней в октябре 1962-го — это напоминание о том, что масштаб личности в мировой политике и дипломатии имеет принципиальное значение: гордыня, идеологические установки и личные комплексы могут привести к войне, а способность вовремя погасить свои пацанские понты в жанре мюнхенских речей — свойство большого политика.

Уже в 1963 году Кеннеди и Хрущев начали своего рода «перегрузку» (хотя берлинский кризис — многолетнее бодание вокруг Западного Берлина и объединения Германии — наметившаяся разрядка так и не разрешила): состоялся первый большой торговый контракт, закупка зерна у США, а в своей речи в ООН 20 сентября, то есть спустя почти год после кризиса, Кеннеди предложил Советам совместное освоение космоса.

Эта история напоминает и о том, что два фактора — наш комплекс неполноценности/недооцененности, питающий антизападничество, и плохо скрываемое желание все-таки «догнать и перегнать» — хоть тушкой, хоть чучелком — никуда не делись. И по-прежнему отравляют не только внешнеполитический курс, но и внутреннюю политику нашей власти.

### Кто «за»?

Прошло два года после Карибского кризиса. Запись в дневнике Александра Бека: «15 октября 1964 г. Вот так неожиданность! Днем отдал рукопись (романа “Новое назначение” в “Новый мир”. — А.К.), а сейчас узнал поразительную новость: отстранен, смещен Хрущев... Такую “точку отсчета” не забудешь». Дворцо-

вый переворот стал неожиданностью для одного из самых тонких исследователей устройства номенклатурной системы.

18 октября раздраженно-проницательный Александр Твардовский, «Одним днем Ивана Денисовича» привязанный к Хрущеву и измученный в том числе и сменой настроений первого секретаря, отмечает в дневнике: «Пришел и ушел “внутренним” порядком — ни тогда, ни теперь никто ничего не спрашивал у народа, даже у партии. Все решается группой в десяток человек... Та же сила, что подняла его на вершину власти... она же теперь и стряхнула его с ветки истории».

21 ноября: «Удивительно все же, как такой многоопытный, прожженный, хитрый и комбинаторный человек от политики оказался столь незрячим в отношении собственного, самим им созданного окружения... не заметил нарастания иронического к себе отношения. Ругают, боятся, даже не любят — это еще полбеды в судьбе государственного деятеля такого масштаба, а когда смеются, перестают слушать, зная все наперед, — беда непоправимая».

Поэт в России и в самом деле — вынужденным образом — больше, чем поэт. Он предъявляет высокие образцы аптекарски точного политического анализа. Хрущев был лидером и задавал новые форматы лидерства. Но он шел к этой позиции не через выборы, а через византийские игры, которые смели затем и его самого.

Венгрия-1956 и Карибский кризис. XX съезд и «догнать и перегнать». Разрешение на Солженицына и запрет Гроссмана, хрущевки и кукуруза, агитация за советскую власть во время кухонных дебатов с Никсоном и разгром интеллигенции, черное и белое на памятнике Эрнста Неизвестного.

Хрущев понимал свою историческую роль. Она была предопределена во многом тем, как он шел к власти. Не столько Никита делал историю, сколько она тянула его за собой. Описание техники обретения первой роли словами Хрущева в изложении Федора Бурлацкого: «Сел Берия, развалился и спрашивает: “Ну, какой вопрос сегодня на повестке дня? Почему собрались так неожиданно?” А я толкаю Маленкова ногой и

шепчу: “Открывай заседание, давай мне слово”. Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не может. Тут я вскочил сам и говорю: “На повестке дня один вопрос. Об антипартийной, раскольнической деятельности агента империализма Берии. Есть предложение вывести его из состава президиума, из состава ЦК, исключить из партии и предать военному суду. Кто “за”? И первый руку поднимаю. За мной остальные...» Вот и вся внешняя драматургия перехвата власти — она всегда простая, без чеховских подтекстов. Все подтексты — в разговорах во время прогулок на территориях госдач.

Главное же последствие хрущевского правления — возможно, помимо желания самого Хрущева, который, впрочем, очень напирал на общенародное государство и социалистическую демократию, — это возникновение когорты «детей XX съезда», от которых идет линия демократических традиций и в постсоветской России.

### Личная заслуга Леонида Ильича

Началась эпоха Брежнева Леонида Ильича, обошедшего на нескольких поворотах истории очень влиятельных претендентов на власть, включая «железного Шурика» — Александра Шелепина. Когда Леонид Ильич скончался 10 ноября 1982 года, умный академик Евгений Чазов очень быстро вызвал на место происшествия самого очевидного «наследника» — Юрия Андропова. Иначе первыми бы на даче Брежнева появились председатель КГБ СССР Виталий Федорчук и министр внутренних дел Николай Щелоков, и борьба за власть обрела бы никому не нужную пикантность. Как это, собственно, произошло, когда умер Сталин.

Впрочем, жертвы транзита власти все равно обнаружили. Андропов очень быстро разобрался с Щелоковым, и тот застрелился, а Федорчука переместил на место самоубийцы, сняв его с руководства КГБ. Потом началась «пятилетка пышных похорон»: Андропов умер, но старая гвардия не смирилась с его политическим завещанием, решив продлить последние денечки — сделать так, чтобы все было, как прежде, и не допустила до власти шибко

молодого Михаила Горбачева, предпочтя умиравшего брежневского «портфельносца» Константина Черненко. Пришлось потерпеть до чаемых перемен в марте 1985-го...

Впрочем, речь не о конкретно-исторических обстоятельствах, а о том, до чего доводит многолетняя неротированность власти, причем вне зависимости от того, оставляет ли вождь наследника, как Брежнев, или не оставляет, как Сталин.

Отсутствие легитимной, с помощью выборов, смены власти — это всегда турбулентность. Впрочем, несменяемость неизбежно ведет в лучшем случае к застою, в том числе в экономике. Если кто-то захочет увидеть в этом историческом сюжете намек на сегодняшний день — так он будет прав.

Политическая биография Леонида Ильича полна аллюзий. До ситуации «Делегатам — встать! Членов Политбюро — внести!» мы еще не доросли. Но какие наши годы! Как-то неловко упоминать разрушительное влияние на самосознание элит и нации высоких цен на нефть и чрезмерных военных расходов. Но приходится. То, что разрушало брежневский СССР, подвергает эрозии и сегодняшнюю Россию, доставшую-таки свой любимый наркотик — высокую нефть, пробив долготерпение стран ОПЕК и добившись снижения добычи.

Теперь небольшое улучшение экономического состояния страны за счет повышения цен на нефть станет оправданием вполне себе брежневского *dolce far niente* («ничего неделание» — *итал.*). А все разговоры о диверсификациях и технологических прорывах будут гулять по бумаге — из нового документа в новый документ.

Что же до военных расходов, им тоже мало что угрожает всерьез. Хотя к власти в США пришли наши друзья — американские геронтократы-миллиардеры, никто не отменял НАТО, Украину и Сирию: увязать в этом во всем будем и дальше. Что потребует расходов.

Борьба за нашу привлекательность и мягкую силу тоже взыскует регулярного финансирования. Как и в брежневские годы. Что, разумеется, не сделает нас центром гравитации для талантов и умов. Скорее все будет так же, как и в брежневские годы, когда,

например, люди из «нашей» Восточной Германии мечтали любой ценой оказаться в Западной.

На этот счет был анекдот из 1970-х. «Проси чего хочешь!» — говорит Леонид Ильич понравившейся ему во время визита в ГДР восточногерманской девушке. «Откройте границу между ФРГ и ГДР», — просит она. «А, чертовка, — грозит ей пальчиком Леонид Ильич, — ты хочешь, чтобы мы с тобой остались вдвоем!»

Сегодня мы «раскалываем» западный мир, приветствуем трампизацию и европейских популистов. У брежневского режима были очень похожие игры. Валери Жискар д'Эстена даже называли *le petit télégraphiste*, «маленьким телеграфистом» Брежнева, то есть человеком, выгораживающим своего партнера. Тоже ничего нового — только ужас узнавания...

А нынешняя страсть российской элиты к единству всех со всеми на прочной марксистско-ленинск... тьфу, морально-нравственной основе!

Попытка сочинить закон о российской нации — жалкая калька с «новой исторической общности — советского народа», идеологии, придуманной как раз в брежневские времена. Это единство наряду с чрезмерной орденосностью (правда, даже Брежнев не оделял юных отпрысков своих соратников госнаградами), чем уже начинает потихоньку грешить нынешний политический режим, описывалось в то баснословное время иронической формулой: «Издан указ о награждении всего советского народа званием Героя Социалистического Труда».

Всепроникающая коррупция, строительство шикарных резиденций во всех уголках страны. Об этом тоже судачили на кухнях в спальнях районах — откуда-то ведь брался тогда сарафанный «Навальный»: мать Брежнева объездила все его резиденции и в страхе говорит: «Леня, что же ты будешь делать, когда коммунисты опять к власти придут?!»

Сегодня политастроологи гадают: а кто входит в ближний круг первого лица? Кто стоит ближе? Раньше гадали по композиции начальства на Мавзолее, хотя надо было судить по тому, кто в каком кабинете сидит на пятом или на четвертом этаже второго подъезда Старой площади. Знали бы, что Юрий Андропов, поки-

нув после смерти Михаила Суслова Лубянку, въехал в кабинет Михаила Андреевича, даже и не сомневались бы в том, кто станет преемником. Впрочем, ныне внешние (и даже скрытые) критерии размыты, а кабинет Леонид Ильича с окнами на памятник Героям Плевны в последние десятилетия занимали главным образом персонажи не выше замглавы администрации президента. Чувство иерархии утрачено. Проспали социализм...

Элитам и самим-то непросто сориентироваться в море слухов — живем-то в эпоху, как и было сказано, фейковых новостей. И Андропова нет, который в 1978-м позвонил Горбачеву после назначения его секретарем ЦК и выразился в том смысле, что ты бы ориентировался четко на генерального секретаря, а то что-то тебя слишком горячо с назначением поздравил товарищ Косыгин...

И нынешняя, и брежневская эпохи — время плохого равновесия из теории игр, когда никто не хочет делать какие-либо шаги первым, чтобы не ухудшить своего положения.

Потому и сама эра Леонида Ильича даже в массовом сознании стоит как-то особняком. Пока на полях исторической мифологии ведутся битвы между плохим Лениным и хорошим Сталиным, Хрущевым, отдавшим Крым, и Путиным, его вернувшим, Брежнев тихонечко стоит себе на своей трибуне и «зачитывает» олимпийские кольца: «ООООО».

И всем хорошо и весело внутри внятного социального контракта: мы делаем вид, что работаем, вы делаете вид, что нам платите. Вот и сегодня: мы вам отдаем свои права в обмен на Крым и чувство великой державы. Хорошо бы еще на десерт рост благосостояния трудящихся, но пока — необязательно.

В этом и отличие вчерашнего от нынешнего времени: тогда все — от простого рабочего до секретаря обкома, от продавщицы в пустом магазине до цеховского интеллектуала из международного отдела — хотели перемен. Сейчас — не очень-то хотят. Потому что боятся, что хуже будет: суверенитет отберут, расскажут всю правду о тысячелетней истории, опять накормят дешевым импортом. Потому и Никита Сергеевич Михалков пугает население новой мировой закулисой — Ельцин-центром, кушающим детей. А все хорошее — от первого лица. И более ни от какого.

Так и это уже было: «Если женщина красива и в постели горяча — это личная заслуга Леонида Ильича; гол с подачи Блохина забивает Балтача — это личная заслуга Леонида Ильича».

Но та же эпоха Брежнева свидетельствует: пройдет и это. И к эпохе перемен лучше подойти подготовленными. А о том, что она близится, свидетельствует появление политических анекдотов. Только здесь мы их пересказывать не будем... Их и так все знают. Прямо как в брежневские времена.

### Идите все на ...

Настоящее, открытое, заметное раскрепощение гражданского сознания началось с сентября 1965 года, когда арестовали Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В декабре 1965-го прошла первая диссидентская демонстрация на Пушкинской площади. И дальше процесс уже невозможно было остановить.

Последними словами умиравшего Андрея Синявского, по свидетельству его друга Игоря Голомштока, были: «Идите все на ...» Что логично в устах человека, которого травили на родине, потом посадили, а затем начали травить и в эмиграции за стилистические разногласия с Солженицыным и прочими авторитетами. Это вам не Гете, потребовавший перед кончиной «больше света»...

Синявский был автором предисловия к знаменитому «синему» тому стихотворений Бориса Пастернака, вышедшему в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1965 году. По счастью, до ареста Андрея Донатовича, иначе бы этот том не увидел свет. И умеренно травимый даже после смерти Пастернак попал бы под нож вместе с его почитателем-литературоведом.

Нынче Борис Леонидович Пастернак снова провинился перед властью: в его, в общем, счастливую постсоветскую судьбу вторглись бойцы слабовидимого фронта.

ЦРУ нашло время и место, чтобы сообщить о том, что изданиям и переизданиям «Доктора Живаго» способствовала американская спецслужба.

С одной стороны, ну и что? А с другой стороны, каков контекст сегодняшнего дня — кругом «иностранные агенты». «Левиафан»

Андрея Звягинцева, по словам министра Мединского, на деньги налогоплательщиков оплевывает святое, главную скрепу — смычку власти, собственности и церкви.

Простой отечественный обыватель, который ментально уже вернулся в состояние рядового гражданина Страны Советов, решит, что Пастернак был агентом ЦРУ, похожим на нынешних «грантоедов». Пропагандистская же элита просто по-человечески простодушно порадовалась новости. Как заметил глава комитета Думы Алексей Пушков, «это не принижает автора, но убивает все иллюзии».

Какие иллюзии? Пастернак что, отработывал госдеповские печенки? А холодная война в конце 1950-х — это новость? А советские идеологические, разведывательные, работающие на зарубежную аудиторию информационные инстанции, включая Комитет защиты мира, АПН и проч., действовали иначе, нежели ЦРУ и прочие МИ-5, 6 и т.д.?

Судя по литературному и эпистолярному наследию Бориса Леонидовича, многочисленным воспоминаниям о нем, поэт не злоупотреблял обценной лексикой, но тут бы точно повторил предсмертные слова Синявского. Причем по всем возможным адресам: и советской власти, и нынешнему «истеблишменту», и ЦРУ. Во всяком случае, Пастернак не просил тамошнюю разведку использовать себя в идеолого-пропагандистских целях.

Да, разумеется, творчеству Пастернака придавалось политическое значение, одна переписка ответственных лиц по поводу «Доктора Живаго», в том числе и посмертная — с исправлением всяких там идеологических ошибок, — составила том («А за мною шум погони...») Борис Пастернак и власть. Документы 1956–1972, М., 2001). Но политизация эстетического — это все-таки проблемы идеократий и автократий. И тех, кто им противостоял, включая западные спецслужбы и подведомственное компетентным органам население. Собственно, художникам эта проблема навязана.

...В середине 1980-х легендарный профессор истории правовых и политических учений на юрфаке МГУ Олег Эрнестович Лейст (человек, мягко говоря, не теплый и известный своей спо-



собностью целым студенческим группам ставить двойки), пролистывая на экзамене мои конспекты его лекций, обнаружил невырванный лист с переписанным откуда-то стихотворением «Нобелевская премия», да еще в полной версии, с двумя строфами об Ольге Ивинской («Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей»).

Отчетливо помню, как у меня все похолодело: это уже не два балла, а та самая политическая ошибка, которую обнаружил один из самых неприязненных преподавателей, да еще ветеран войны. «Чего только тут у него нету, — пробурчал себе под нос профессор. — И рожи какие-то нарисованы, и Пастернак...» И поставил четверку, вернув тетрадь с конспектами.

Понятно, что это был акт политической солидарности. И сниженная оценка за неосторожность. Но и эстетический жест: между нами, дорогой студент, нет тех самых «стилистических разногласий».

Посмертная политизация в наше время — это уже, конечно, не записка отдела культуры ЦК «об апологетике творчества Б.Л. Пастернака на поэтическом вечере в ЦДЛ, посвященном 50-летию Октября», это использование имени поэта в доказательстве простого, как установка на летучке кремлевских политтехнологов, тезиса: все на свете на кого-то работает и на чью-то мельницу льет воду; нет ничего чисто эстетического, есть только политическое, используемое в информационной войне.

На сайте ЦРУ, где висят эти 99 рассекреченных бумаг, в предупреждении к публикации радостно говорится: «...документы из этой коллекции показывают, сколь эффективно “мягкая сила” может влиять на события и служить двигателем внешней политики».

У Пастернака на этот спорный тезис, снова почти исключая эстетическое в предпочтении политического, есть ответ — стихотворение «После грозы», написанное почти тогда же, что и «Нобелевская премия», и по поводу тех же событий вокруг нее: «Не потрясенья и перевороты / Для новой жизни очищают путь, / А откровенья, бури и щедроты / Души воспламенной чьей-нибудь».

О механике этой самой «мягкой силы» с «той» стороны написан первоклассный роман — русский перевод «Сластены» Иэна Макьюэна издан как раз прямо специально для саморазоблачения ЦРУ. Только там речь идет об английских спецслужбах и агентессе, которой поручено сделать оружием «мягкой силы» подающего большие надежды молодого английского писателя. Но и книга Макьюэна не детектив о провале операции разведки, а роман о том, как литература меняется местами с жизнью, и наоборот.

Эта самая жизнь подбрасывает множество родственных сюжетов: исламисты убивают карикатуристов Charlie Hebdo, тем временем Салман Рушди долгие годы скрывается от возмездия мусульманских фундаменталистов и пишет об этом книгу «Джозеф Антон», русский Левиафан обрушивается на «Левиафана» за то, что в кино он показан не с лучшей стороны...

Но и это лишь вариации на вечную тему, о которой писал в одном из своих эссе Милан Кундера: «Теократия обвиняет Новое время и в качестве мишени выбирает самое убедительное ее создание — роман». О ком же это? «Теологи из Сорбонны, идеологическая полиция XVI века, которые разожгли столько костров, сделали жизнь Рабле достаточно нелегкой, заставив его убежать и скрываться».

Так «мягкая сила», настаивая на своей правоте, неизбежно переходит в силу жесткую или в прямую репрессию. Получается, политика побеждает искусство? Едва ли. И последние слова Андрея Донатовича Синявского я бы рассматривал именно с эстетической точки зрения. Это он о тех самых стилистических разногласиях говорил. И не только с советской властью.

### Три минуты молчания

В начале восьмого вечера 5 декабря 1965 года на Пушкинскую площадь под свет электрической строки, бежавшей по старому еще, конструктивистскому, зданию «Известий», вышло несколько десятков человек. Некоторые из них ненадолго, минуты на три, молча развернули плакаты с требованиями уважения советской

Конституции и гласности процесса Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Поскольку о планировавшейся акции было хорошо известно в органах («Гражданское обращение», написанное преимущественно Александром Есениным-Вольпиным, сыном Сергея Есенина, математиком, уже дважды успевшим отсидеть, широко распространялось, например, на филфаке МГУ, а одного из организаторов акции, Владимира Буковского, превентивно отправили в психушку еще 2 декабря), плакаты были быстро уничтожены, более двух десятков человек препровождены на допросы. Которые, впрочем, больше напоминали профилактические беседы — участники акции были освобождены, КГБ не придавал выходу на площадь чрезвычайного значения.

Впрочем, очень быстро выяснилось, что такое отношение — ошибка.

Акция, поначалу казавшаяся чем-то средним между чудачеством взрослых людей, решительно сумасшедших, потому что они всерьез относились к тексту сталинской Конституции, и хулиганством молодых людей с избыточным тестостероном, породила диссидентское движение в СССР. Точнее, так — она его оформила.

Это был первый подземный толчок, с которого можно отсчитывать постепенную эрозию советской власти. Ее развал лишь усугубили потом, много лет спустя, чрезмерные военные расходы и падение цен на нефть.

Важным оказалось не только то, что выход на площадь в декабре 1965-го стал первой публичной демонстрацией протеста после выступления троцкистов в 1927 году. (Да и то это сравнение не слишком корректно, потому что акции троцкистов были проявлением борьбы за власть, а в декабре 1965-го никто за власть не боролся.)

Молчание митингующих оказалось красноречивее разговоров и выкриков — оно нарушило омерту общества, парализованного, несмотря на миновавшую оттепель, страхом.

Парадоксальным образом именно молчание стало способом проведения митинга «гласности» — этот термин, употребленный

полвека назад, потом станет символом горбачевской перестройки. Это было преодоление страха — причем не только перед властью, непредсказуемостью органов. Но и перед теми, кого можно было считать тогдашним «Уралвагонзаводом» — один из участников акции называл их обобщенно «зиловцами с велосипедными цепями»: тактика сегодняшних компетентных органов и политических манипуляторов ведь только пародирует предшественников, ничего нового они не придумывают.

Тот первый выход на площадь недооценил не только КГБ, который не понимал юридической логики, заданной прежде всего Есениным-Вольпиным, — люди из органов досадовали, когда речь шла о Конституции: «Ведь мы с вами говорим серьезно!» Многие просто боялись ненужных жертв — и в самом деле могли пересаживать совсем молодых ребят. Даже историк диссидентского движения Сесиль Вессье в своей замечательной книге «За нашу и вашу свободу! Диссидентское движение в СССР» (1999) посвящает 5 декабря всего несколько абзацев.

Между тем импульс выхода на площадь и прерванного молчания оказался невероятно мощным. После Пушкинской представители интеллигенции открыто, с указанием своих координат, стали подписывать письма власти. Не потому, что надеялись на успех, а потому что после этого оставались в ладах со своей совестью. В сущности, не нужно было формировать организаций (хотя они все равно возникали). Если говорить в сегодняшних терминах, это было сетевое движение, основанное на индивидуальном решении каждого. И не на подпольном, а открытом выражении мнения.

Многие поняли, писала адвокат диссидентов Дина Каминская, что просто «неучастия было недостаточно... Это изменение нравственного климата ощущалось всеми, поднимало людей в их собственных глазах». Затем, уже с 1966 года, отмечала Наталья Горбаневская, «ни один акт произвола и насилия властей не прошел без публичного протеста, без отповеди. Это — драгоценная традиция, начало самоосвобождения людей от унижительного страха, от причастности к злу».

Власти тоже очнулись. Стали сажать. И подвели под репрессии квазиправовую основу, поскольку выходившие на площадь чудачки

оказались в серой зоне между законопослушным советским поведением и антисоветчиной с целью подрыва строя, описываемой диспозицией ст. 70 УК РСФСР. 8 июня 1966-го председатель КГБ Владимир Семичастный и генпрокурор СССР Роман Руденко (который для системы и сегодняшней прокуратуры — такая же икона, как Леннон для битломана) направили в ЦК КПСС секретную записку с предложением дополнить советское уголовное законодательство статьями, карающими за распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй, но без цели подрыва и ослабления советской власти.

Правильно — ведь демонстранты словно бы писали комментарий к Конституции 1936 года, такой свободолобивой и демократичной, и всего лишь, святые люди, просили государственную власть ее уважать и соблюдать. Святость государство ловко конвертировало в уголовщину.

Какой разительный контраст, достигнутый всего за неполные три года: профилактические беседы в декабре 1965-го — и жестокая, стремительная, насильственная расправа с последующей посадкой в лагерь в августе 1968-го. Путь от Пушкинской площади до Красной.

В 1967-м, после третьего стояния на Пушкинской, 22 января 1967-го, закончившегося, как и второй митинг, 5 декабря 1966-го, арестами, Наталья Горбаневская, один из недооцененных русских поэтов XX века, еще не проделавшая до конца этот путь от 1965-го к 1968-му, когда она сама с чехословацким флажком и коляской с младенцем выйдет на Красную площадь, написала про площадь:

Страстная, насмотрись на демонстрантов.  
Ах, в монастырские колокола  
не прозвонить. Среди толпы бесстрастной  
и след пустой поземка замела.  
А тот, в плаще, в цепях, склонивши кудри,  
неужто все про свой «жестокий век»?

«Мы выступали не против режима, а против лжи режима», — написал в своих мемуарах друг Андрея Синявского Игорь

Голомшток, неправильно себя поведший в 1966-м и получивший дядю за это исправительные работы по месту службы.

Моральное сопротивление режиму страшнее для системы, чем чисто политическое. Режим на нем и подорвался.

Причем достаточно было просто (легко сказать — «просто»!) жить в повседневной жизни так, как если бы советской власти рядом не было. Как, например, жил Мераб Мамардашвили — без аффектации и присоединения к коллективным акциям. Но именно в этом принципиальном несгибаемом индивидуализме «они» чувляли самое страшное для себя. «Мы знаем, — говорили ему комитетчики то ли на допросах, то ли в своих специфических беседах, — что вы считаете себя самым свободным человеком в стране».

И то, что исповедовали тогда, полвека назад, с риском для своей свободы (внешней, не внутренней) несколько сотен отказавшихся бояться человек, всего-то через двадцать лет стало (пусть и временно) политической и нравственной религией миллионов. Правда, для этого во власти должен был появиться человек по фамилии Горбачев, начавший встречное движение сверху вниз — от власти к обществу.

В том самом первом выходе на площадь, в чем-то рифмующемся с декабристским, тоже юбилейным, выходом 1825 года, нет никакого урока для сегодняшнего дня. Каждое новое поколение учится не на исторических прецедентах, а на собственных ошибках, несмотря на то что есть большой соблазн, возможно справедливый, усмотреть аллюзии между 1965-м и 2011–2012 годами. Но даже если нет урока, есть предупреждение: крах любого авторитарного ли, тоталитарного режима предопределен ментальным созреванием нации, пониманием лжи и моральной недостаточности системы.

Работу по преодолению собственного истерически-восторженного конформизма и — скрываемого, не признаваемого — страха обществу еще предстоит проделать. Как проделали ее без преувеличения выдающиеся наши соотечественники в 1960-е, подлинные исторические личности и герои России. Не из учебника, тем более — единого.

## Защита Каминской

*Ой, правое русское слово —  
Луч света в кромешной ночи!  
И все будет вечно хреново,  
И все же ты вечно звучи!*

Юлий Ким. Адвокатский вальс

В марте 1878-го перед рассмотрением дела Веры Засулич министр юстиции граф Пален пригласил председателя Петербургского окружного суда Анатолия Кони, которому предстояло вести процесс. Между ними произошел следующий разговор:

«— Можете ли вы, Анатолий Федорович, ручаться за обвинительный приговор над Засулич?

— Нет, не могу!

— Как так? Вы не можете ручаться?! ...Беспристрастие... Но ведь по этому проклятому делу правительство вправе ждать от суда и от вас особых услуг...

— Граф, позвольте вам напомнить слова: “Ваше величество, суд постановляет приговоры, а не оказывает услуг”.

— Ах, это все теории!»

Засулич была оправдана. Граф Пален лишился своего поста. Но система правосудия Российской империи после Великой судебной реформы 1864 года была устроена таким образом, что Кони остался в должности.

Той же степени понимания «государственных задач» неизменно требовала от судей, прокуроров и адвокатов советская власть. И трудно было представить, чтобы кто-то из них не прислушался к мнению начальства или стал бы сопротивляться обвинительному уклону советского правосудия. Примеров такого рода и не было, за вычетом случая с прокурором Борисом Золотухиным, который отказался от поддержки обвинения в одном из процессов, ушел из прокуратуры и стал адвокатом. Из адвокатуры он тоже был уволен — за то, что потребовал оправдательного приговора для Александра Гинзбурга, составителя «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля. Но во второй

половине 1960-х Золотухин уже был не единственным честным и бесстрашным защитником. Именно тогда немногочисленные принципиальные адвокаты продолжили линию Анатолия Кони, отказались учитывать требования государства и политическую конъюнктуру и руководствовались исключительно требованиями права. Что совпало с рождением правозащитного и диссидентского движения в СССР. Одним из таких адвокатов была Дина Исааковна Каминская.

Она начала работать в адвокатуре еще до войны. Характерно, что о несправедливости системы и необходимости защищать обиженных она задумалась, проходя стажировку в прокуратуре: «Увидев, как живут, что едят, во что одеваются те люди, которых привлекали к ответственности за мелкие кражи и другие не очень значительные преступления, я начала сомневаться, справедливо ли поступает в этих случаях государство, так жестоко — тюрьмой — карающее голодных людей».

Для многих адвокатов тех поколений наблюдаемая ими несправедливость была основной причиной выбора профессии. Замечательный московский адвокат Дмитрий Соломонович Левенсон рассказывал, как на его «профориентацию» повлияли арест отца и попытки соседа-энкавдэшника выселить семью из комнаты: удивительным образом в Мосгорсуде нашлись смелые судьи, которые отменили решение по выселению матери с двумя детьми только потому, что жилплощадь понадобилась сотруднику всесильного наркомата: «Уже в 6-м классе я решил стать адвокатом и бороться против несправедливости и беззакония».

Работа в адвокатуре в те годы, возможно, и приносила удачливым защитникам нестандартный для советского человека доход, но само положение адвокатов в судебных процессах, особенно уголовных, как правило, оказывалось второстепенным. А кадровый состав нередко пополнялся за счет отставников — бывших судей, прокуроров, следователей. И эта ситуация была актуальна не только в те годы, когда Дина Каминская начинала свою карьеру, но и вплоть до конца советской власти: а какой еще могла быть ситуация, если 60% выпускников юрфаков ведущих университетов распределялись в прокуратуру?



Но для адвокатов по призванию коллегии защитников оказывались своего рода формой внутренней эмиграции: это была не диссидентская, конечно, однако гораздо более свободная среда, чем в других советских субкультурах. Во всяком случае, судья не мог быть беспартийным, а адвокат — мог. Забытое ныне понятие «микст» — деньги, вносимые клиентом не только в кассу консультации, а непосредственно адвокату, выделяло это «сословие» из других советских социальных групп, живущих «на одну зарплату».

Профессиональная добросовестность адвоката приводила представителей этой профессии сначала к стилистическим, а затем к политическим разногласиям с советской властью. Диссиденты требовали от начальства, чтобы оно уважало Конституцию, а защитники добивались буквального соблюдения уголовного и гражданского законодательства.

«Что это вы, товарищ адвокат, все таких людей защищаете? И ведь не по назначению, а сами соглашаетесь...

— Зачем тебе это нужно? Защищала бы лучше лавочников — это куда доходнее и, главное, спокойнее, — спросил меня мой товарищ по консультации, старый опытный адвокат.

Что я могла ответить им? Что я соглашаюсь защищать всех, кто нуждается в моей помощи. Что это моя работа, моя профессия, и я не вижу оснований для того, чтобы отказывать в этой помощи Габаю или Буковскому, Литвинову и Галанскову».

Личные взгляды Дины Каминской могли совпадать с убеждениями подзащитных. Например, защищая Ларису Богораз, вышедшую на Красную площадь 25 августа 1968 года, чтобы протестовать против ввода войск в Чехословакию, адвокат полностью солидаризировалась с нею в оценке действий советского руководства. Но в суде защищала ее исключительно по правовым основаниям, исходя из того, что человек имеет право высказывать свое мнение, не нарушая общественного порядка. По тем же основаниям Каминская защищала своего первого политического клиента — Владимира Буковского, участника мирной манифестации на Пушкинской площади в январе 1967 года. Дина Каминская жила так, как если бы адекватное правоприменение

было возможно: «В несвободной стране мы старались жить, как в свободной». Что в результате и привело к преследованиям и вынужденной эмиграции.

В судьях Дина Каминская не видела врагов, а лишь профессионалов или непрофессионалов, людей порядочных или людей подлых. Видела и то, как указания сверху, поручения вышестоящего начальства, сделки с совестью размывали профессионализм и порядочность. Каминская писала: «После дела о демонстрации на Красной площади Лубенцовой (Валентина Лубенцова, член Мосгорсуда, председатель на процессе о выходе на площадь в августе 1968 года. — *А.К.*) часто поручали рассматривать политические дела, но я уже в них не участвовала. Знаю только из рассказов моих коллег, что она из процесса в процесс игнорировала не только все спорное, но и все то, что безусловно свидетельствовало в пользу обвиняемых. Сначала это не отражалось на ее поведении в обычных уголовных делах. Но приобретенная при рассмотрении политических дел привычка к нарушению закона оказалась мстительной. Все чаще и все более четко стали проявляться несвойственные ей раньше черты бездушного чиновника».

Каминская никогда не превращала свои судебные речи в митинговые. Она предпочитала сугубо правовой разговор, даже когда речь шла о таких по сути своей абсурдных составах преступления, как антисоветская деятельность или клевета на советский общественный строй (ст. 70 УК РСФСР — антисоветская агитация и пропаганда, ст. 190-1, 190-2, 190-3 — распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй; надругательство над государственным гербом или флагом; организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок). Никто не отменял категорий уголовного права и процесса — например, понятий прямого и косвенного умысла; никто — формально — не отменял конституционных прав и свобод советских граждан; никто не давал права адвокату отказываться от юридического анализа действий своих подзащитных (например, высказывание мнения — не обязательно клевета на «строй»).

Это был звездный час советской адвокатуры, сравнимый с эпохой великих судебных ораторов конца XIX — начала XX века. Тогда расцвет адвокатской профессии был напрямую связан с судебной реформой. В 1960-е первоклассных защитников востребовало нарождавшееся общественное движение.

Дина Каминская не смотрела на своих подзащитных с закрытыми глазами: «Помню, как после одной такой беседы я, вернувшись домой, сказала мужу:

— Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти, — мне этого не захотелось». Мотивы ее защиты были другие: убежденность в нравственной и юридической, даже в рамках советского закона, правоте подзащитных.

Книга Каминской замечательна не просто как исторический документ. И это не пособие по адвокатской работе, хотя современным адвокатам, все больше занимающимся «разруливанием», а не собственно защитой, есть чему поучиться у коллеги.

Пугающе совпадает поведение тех, кто хватал людей на площадях в 1967-м и 1968-м, и тех, кто сегодня запикивает их в омовские машины во время мирных манифестаций. Как будто и не прошло пяти десятков лет. Пугающе выглядят совпадения с поведением судей и прокуроров в современных российских судах, здания которых, правда, внешне стали более приличными и комфортными. Но дело же не в перекраске фасада, а в профессионализме и честности правоприменителей. А с этим — очевидные проблемы. Достаточно сравнить хронику судебных заседаний, например, процесса «вышедших на площадь» и дела Ходорковского. При всей несхожести содержания как же все это совпадает по форме! И по итогу — обвинительному уклону, из которого торчат уши государственного заказа.

## Страна и мир Кронида Любарского

Три с половиной десятка лет тому назад Кронид Любарский вместе с Борисом Хазановым и Борисом Максудовым начал выпускать публицистический журнал «Страна и мир», четыре

десятилетия тому назад он инициировал издание бюллетеня «Вести из СССР», а почти четыре с половиной десятка лет тому назад, находясь в лагере, придумал «праздник» — День политзаключенного (отмечается 30 октября).

Кронид Любарский был прямым человеком. Несгибаемым. Не только в том смысле, что всегда высказывался жестко и сухо, напрямую. Казалось, внутри него — невидимый стержень. Или вечно сжатая пружина. Даже когда он веселился, шутил, путешествовал, выпивал, в близоруких глазах читались жесткость, внимание, постоянная готовность к тому, чтобы отразить чью-то атаку. Оно и понятно: таких атак было множество. А он к тому же был зэкком.

Непримиримость к несправедливости и неправде стала сутью его характера. Ее чувствовали все: и друзья, и враги. Когда в 1977-м Крониду выпускали из Владимирской тюрьмы, дежурный офицер его напутствовал: «С вами, Любарский, я не прощаюсь». Хорошо не «а вас я попрошу остаться».

### *Исход из СССР*

В 1993 году Кронид Любарский занял кабинет первого заместителя главного редактора журнала «Новое время» — окнами, что характерно, на торец здания Минпечати. И с журнальным столиком, о который вечно ударялись его предшественники, включая Леонида Млечина. Незадолго до этого Крониду вернули российское гражданство. Причем в соответствии с нормами, принятия которых он добивался еще во времена Верховного Совета СССР: вернуть гражданство всем тем, кто был незаконно его лишен. А в 1991-м, по магическому движению судьбы, он оказался с женой Галиной Саловой в Москве прямо накануне путча. Погружение в российскую действительность прошло самым что ни на есть шоковым образом. Впрочем, еще в конце 1970-х в статье о своем лагерном опыте Кронид фактически предсказал развал Союза: «Лагерь четко демонстрирует, что в Советском Союзе сидят в первую очередь за национализм... Без ликвидации имперского характера Союза бессмысленно говорить о либерализации режима».

В «Новое время» Любарский пришел из мюнхенского журнала «Страна и мир». В этом виделась метафора: из замечательного издания, названного в честь работы Андрея Сахарова, которое выполнило свою миссию, — в новые времена. В которых, впрочем, у Кронида оказалось не меньше работы, чем во времена старые: он считал, что права человека с исчезновением Союза продолжали нарушаться, просто изменился сам характер нарушений. «Приходится говорить не о “нарушениях прав человека”, а о настоящем геноциде». Любарский имел в виду Карабах, Осетию, потом — Чечню. Но даже в 1992 году в «Списке политзаключенных», который он педантично издавал вместе с информационным изданием «Вести из СССР» (утрачивавшим свое значение в связи с распадом источника «вестей»), значились 200 человек: «пересидчики», не подпавшие под реабилитацию; сидящие за отказ от службы в армии по убеждению; сидящие в республиках бывшего Союза, особенно на тот момент — в Грузии.

### *Программа действий*

Мордовские лагеря и Владимирская тюрьма — пять лет, строго по приговору. Девять месяцев административного надзора в 1977 году в Тарусе — с бесконечными проверками, провокациями, невозможностью найти работу. Угроза трех новых уголовных дел и второго срока, на этот раз десятилетнего. Итог — вынужденная эмиграция в том же 1977-м.

В Тарусе у Кронида изъяли два листка со списком политзэков, которым нужно послать бандероли и посылки, и адресами семей политзаключенных, нуждавшихся в материальной помощи. Как отмечалось в «Хронике текущих событий», капитан госбезопасности Подушинский высказался на этот счет так: «Это целая программа действий, причем действий преступных. Это программа консолидации антисоветских элементов». И уже в 1978-м талантливый астрофизик Любарский, отказавшись от работы в Аризонской обсерватории, начал выпускать в Мюнхене «Информационный бюллетень» (к нему прилагался обновлявшийся «Список

политзаключенных СССР»), который потом был назван «Вестями из СССР». По сути дела, те же листки, которые у него были обнаружены в Тарусе, только изготовленные типографским способом. Если называть вещи своими именами, это была фанатичная подвизническая деятельность.

Кронид печатал каждый новый номер на машинке, а впоследствии на «Макинтоше» — привязанность к эпшловской продукции Любарские сохранили на всю жизнь. Материалы отправлялись в Брюссель графу Энтони де Меусу, издателю Cahiers du samizdat («Тетрадей самиздата»), который бесплатно печатал бюллетень в типографии, а старушки из дома для русских престарелых заклеивали конверты с выпусками «Вестей», работая тем самым на ниве восстановления демократии на их исторической родине.

### *Крупнейший самиздатчик*

Выпуская бюллетень, а затем журнал и даже книги, Кронид Любарский занимался, в сущности, привычным делом. Он был одним из самых крупных самиздатчиков своего времени. (Во время ареста у него было изъято более 600 самиздатских изданий — и это было не все, что он хранил и распространял.) Работая по астрофизической специальности над статьями, учебниками, переводами, изучая планету Марс в закрытом городке ученых Черноголовке, Кронид не участвовал в собственно диссидентских акциях. Он тайно изготавливал и распространял самиздат. И считал это чрезвычайно важным. Политическое объяснение можно найти в одном из писем из лагеря жене: «У интеллигенции не должно быть политических амбиций, направленных на утверждение власти. Ее социальная функция (великая историческая миссия) состоит в создании в сложном современном обществе эффективного и быстродействующего механизма отрицательной обратной связи, без чего невозможен гомеостаз». Самиздат был частью такого механизма.

Дело Кронида Любарского о распространении материалов, содержащих антисоветские клеветнические измышления, в

целях подрыва и ослабления советской власти, слушалось в октябре 1972 года в Ногинске на выездной сессии Московского областного суда. Понятно, что судили подальше от Москвы, чтобы не слишком сильно резонировало. По воспоминаниям Андрея Сахарова, суд — «формально открытый — шел под замком!» Причем в буквальном смысле — амбарным.

Но самым удивительным во всем процессе было последнее слово Кронида Любарского. Сухой и логичный ум выпускника мехмата позволил ему без жарких эмоциональных высказываний разрушить концепцию обвинения. Любарский доказал отсутствие у него антисоветского умысла и показал абсурдность самой статьи 70-й Уголовного кодекса: «Информация — это хлеб научного работника... Составить свое независимое мнение можно, только владея информацией. Например, важно знать все обстоятельства прихода Сталина к власти, ибо уроки истории учат. Но нет книг на эту тему на прилавках магазинов — и вот я должен обратиться к Авторханову... А что вы можете предложить мне взамен?.. Вот оно, единственное решение проблемы самиздата — введение подлинной свободы печати».

Кронид выступал полтора часа, выкладывая аргумент за аргументом. В полной тишине слушал суд, слушал прокурор, слушала отборная партийно-лояльная общественность из Черноголовки. Приговора ждали семь часов. И стало понятно почему: судья Макарова вместо пяти лет колонии и двух лет ссылки, на чем настаивал прокурор, приговорила Любарского к пяти годам без ссылки. Такое решение, очевидно, пришлось согласовывать.

Навыки публичной аргументации своей позиции пригодились Крониду Аркадьевичу потом, когда он занимался правозащитой, законотворческой работой и написанием целого свода статей о праве и его нарушениях.

### *Портвейн на прощание*

По большому счету в результате посадки из-за столь рано обнаружившейся общественной позиции в лице Кронида страна потеряла талантливую астрофизика. Ведь Любарский работал в

обсерваториях, в том числе в Ашхабадской, исследовал в экспедиции феномен Тунгусского метеорита, был участником программы изучения Марса. Зато благодаря советским компетентным органам страна приобрела одного из ведущих правозащитников, чья деятельность подготавливала демократизацию страны и гуманизацию ее законодательства. Не говоря уже о том, что выиграла журналистика — сначала эмигрантская, затем российская 1990-х годов.

При своей невероятной работоспособности Кронид Любарский был веселым и компанейским человеком, который любил свою семью, своих многочисленных домашних животных, своих друзей. Любил готовить, выпивать и закусывать, путешествовать. Серия статей «Путешествие с бутылкой» не очень вязалась с образом хлесткого и неуступчивого публициста, зато редколлегия «Нового времени» неизменно могла убедиться в точности тех живописных характеристик, которые Любарский давал разным экзотическим напиткам. Многим запомнилась большая и основательная статья о портвейне... Это утепляло образ негнибавшего диссидента.

В последние годы его имя стали забывать. Как, впрочем, и имена многих других людей, благодаря которым наша страна, пускай и на время, становилась лучше. Кронид Любарский, конечно, останется в Истории. Но это потом. А пока... Пока его статьи снова пугающе актуальны.



## 2. *Сопrotивление системе изнутри: «Новый мир» и его враги*

*И весь мир понял, что «Новый мир» тянул до последнего часа свой непомерной тяжести воз. Дотянуть заведомо нельзя было, но в том же и суть, что тянули, несмотря на эту заведомую невозможность дотянуть.*

Александр Твардовский, запись в дневнике 21.03.1970

Между первым снятием Александра Твардовского с должности главного редактора «Нового мира» в 1954-м, о котором шел разговор в первой главе, и идеологическим погромом, устроенным в 1969-м с помощью «письма одиннадцати» писателей из националистического лагеря («Против чего выступает “Новый мир”»? «Огонек», № 30, 1969), прошло 15 лет, и в этом историческом отрезке поместились и оттепель, и последующие заморозки, закончившиеся второй и последней отставкой Твардовского и его смертью.

События, разворачивавшиеся вокруг «Нового мира», замечательным образом иллюстрируют банальный тезис: история повторяется. И повторяется неизменно в виде фарса. Ныне — фарса самоцензуры в средствах массовой информации. Тогда — трагедии цензуры. Однако «Новый мир» предъявляет еще один поучительный опыт — опыт последовательного сопротивления. Несмотря ни на что.

### Чего же он кочет?

Сейчас самоцензура помогает отсекаать идеологические крайности, и там, где шумело зеленое дерево СМИ 1990-х годов, «полное цветов и листьев», прочно стоит засохший столб идеологического дуба без сучка и задоринки, кокетливо прикрытый пластмассовыми листьями винограда. Из этих искусственных зарослей время от времени появляются агрессивные змеи официальной пропаганды, обладающие еще и даром гипноза.

В 1960-е руководящая и направляющая сила КПСС сохраняла чистоту генеральной линии, которая прокладывала себе путь между демократическим либерализмом «Нового мира», ортодоксальной стойкостью «Октября» и национализмом «Молодой гвардии». Сегодня мы имеем дело с модернизированной системой идеологических сдержек и противовесов, еще брежневской выделки, но адаптированной к путинской России, уже не дающей себе труд, как до присоединения Крыма, чередовать либерализм и черносотенство, а предъявляющей только голую прямолинейную агрессию.

В то время внешнего единства был и «русский орден ЦК», причем и в ЦК ВЛКСМ тоже, пытавшийся протащить в государственную идеологию русский национализм, и либерально настроенные чиновники и советники, продвигавшие идеи социализма с человеческим лицом. Та же история наблюдалась в докрымскую эпоху, которая теперь кажется относительно вегетарианской: Россия устремлялась в будущее на своем технологически прорывном кукурузнике на двух крыльях — либеральном и «силовом», давая крен то в одну, то в другую сторону и теряясь в мировоззренческом тумане при временно отказавших навигационных приборах. Потом самолет стали вести с помощью автопилота изоляционизма и «патриотизма», на честном слове государственного телевидения и на одном крыле национал-патриотической агрессии в соцсетях.

Считается, что в той истории, когда в 1969-м одиннадцать писателей национал-патриотического направления опубликовали донос на «Новый мир», пострадали журнал и шестидесятничество как демократическое умственное движение — предтеча перестройки и реформ. Но все было сложнее. В том смысле, что одиннадцать русских националистов, подписавших продукт коллективного творчества, который дописывался в кабинете главного редактора «Огонька» «национал-коммуниста» Анатолия Софронова, как бы отвечали на выпад новомирца Александра Дементьева, обвинившего «молодогвардейцев» в «славянофильском мессианстве». Сложность и в том, что, уничтожая «Новый мир», власть соблюдала баланс: в начале 1970-го была ликви-

рована команда Твардовского и сам он ушел в вынужденную отставку, однако в конце того же года секретариат ЦК снял с должности главного редактора «Молодой гвардии» Анатолия Никонова, словно бы в насмешку отправив его руководить априори «космополитичным» журналом «Вокруг света». Досталось — за избыточную ортодоксальность (здесь тоже нельзя было пересекать «двойную сплошную») — и кочетовскому «Октябрю».

Но правда и в том, что «молодогвардейцы» с кочетовцами все-таки были своими, органически близкими режиму, отправившему танки в Прагу, а новомирцы оставались чужаками. И потому «письмо одиннадцати» добивало «Новый мир» — еще в 1968 году Твардовского хотели заменить на активного лоялиста, редактора «Знамени» (в течение 35 лет!) Вадима Кожевникова, и, в сущности, судьба либерального направления в идеологии и культуре была решена. Подписанты, при всех их столах и жалобах на либералов из ЦК, не могли этого не знать. Или не чувствовать. В этом смысле это была подлая акция. Иначе бы на защиту «Нового мира» не встали такие вполне лояльные режиму писатели, как Симонов, Исаковский, Сурков, Смирнов.

«Новый мир» ответил редакционным материалом, в весьма изысканной и деликатной манере обвинив оппонентов в «идейно-художественной невзыскательности, слабом знании жизни, дурном вкусе, несамостоятельном письме». Смысл дискуссии, да и сам пафос работы «Нового мира» был очевиден для всех. Еще раньше Всеволод Кочетов, который редактировал «Октябрь» до самой своей смерти в 1973 году (он покончил с собой), сказал: «Делают вид, что целят в эстетику, а огонь ведут по идеологии». (В 1969-м появится пародия Зиновия Паперного на роман Кочетова «Чего же ты хочешь?» под названием «Чего же он кочет»:

«— Две заботы сердце гложут, — чистосердечно признался Феликс, — германский реваншизм и американский империализм. Тут, отец, что-то делать надо. И еще одна закавыка. Давно хотел спросить. Скажи, пожалуйста, был тридцать седьмой год или же после тридцать шестого сразу начался тридцать восьмой?»

— Тридцать седьмой! Это надо же! — уклончиво воскликнул отец. Его взгляд стал холодней, а глаза потептели...

— Прости, отец, опять я к тебе, — сказал Феликс, входя. — Так как же все-таки, был тридцать седьмой год или нет? Не знаю, кому и верить.

— Не был, — ответил отец отечески ласково, — не был, сынок. Но будет...».)

Почему «патриотическое» направление было роднее советской власти, хорошо объяснил редактор новомирского раздела «Политика и наука» Юрий Буртин, человек, для которого журнал был смыслом жизни, а Твардовский — кумиром. В начале 1990-х мы часто разговаривали с Юрием Григорьевичем, суховатым, безукоризненно интеллигентным человеком с твердокаменными демократическими принципами, и в одном из интервью мне он сказал: «Главный противник “Нового мира” виделся в то время в виде откровенного сталинистского реставраторства... Чем дальше шло мирное время, тем слабее становилась главная опора системы — официальный марксизм. Ее надо было не заменить, а дополнить, достроить. Такой дополнительной опорой становилась государственно-патриотическая идеология, представителями которой как раз и была “Молодая гвардия”, а потом и “Наш современник”. Сильно в обиду их никогда не давали... “Новый мир” был выразителем антитоталитаристской линии, “Молодая гвардия” стала одной из форм охранительства, удержания системы, придания ей дополнительной убедительности».

Дневники Буртина за 1969 год. Запись от 26 июля об «огоньковском» письме: «Так о нас еще не писали: “Именно на страницах “Нового мира” печатал свои “критические” статьи А. Синявский, чередуя эти выступления с зарубежными публикациями антисоветских пасквилей»». В середине 1960-х Буртин сорвал защиту собственной диссертации о Твардовском, выразив публично благодарность Андрею Синявскому, который уже в это время отбывал срок. 31 июля: «В газете “Социалистическая индустрия” “Открытое письмо главному редактору “Нового мира” тов. Твардовскому А.Т.” от Героя Соцтруда токаря Захарова — обычная журналистская стряпня, в хамском тоне».

Сразу после своей отставки Твардовский с неожиданным воодушевлением рассказывал коллегам о том, что в ЦК новой редколлегии ставили задачу делать журнал не хуже, журнал «качественный». Значит, понимали, что такое уровень либерального «Нового мира», который после Александра Трифоновича редактировали все сплошь серенькие личности, включая бывшего зама того же Кочетова Владимира Карпова (не зря в секретариате ЦК кто-то предлагал слить «Новый мир» с «Октябрем» и решить проблему). Все это опять же карикатурно, до боли напоминает нынешние времена, когда все цензурные и оглуляющие читателя, зрителя, слушателя перемены в СМИ производятся под знаком «качественной» журналистики и увеличения суммы «профессионализма». И в самом деле: придут люди — и сделают не хуже. Профессионально. Качественно. А что-то главное — пропало...

Юрий Буртин однажды показал мне «письмо одиннадцати». Оно было набрано экономным «огоньковским» шрифтом, пережившим Софронова и дотянувшим до Коротича. Теми же самыми буквами того же кегля потом взрывались идеологические основы советской власти. Сейчас шрифтовых гарнитур куда как больше, чем при Советах. Но иной раз кажется, что сквозь них проступает та самая — единая и единственная — конструкция шрифта. И горячий набор пачкает пальцы. Единый шрифт, единый стиль, «Единая Россия».

## От искренности к правде

Формально история «Нового мира» Твардовского закончилась решением бюро секретариата правления Союза писателей (СП) СССР от 9 февраля 1970 года о выводе из состава редколлегии ключевых сотрудников журнала: Владимира Лакшина, Алексея Кондратовича, Игоря Саца, Игоря Виноградова. Вслед за этим последовало предсказуемое заявление Александра Твардовского об отставке. Еще 10 февраля Александр Солженицын убеждал главного редактора остаться, чтобы с небольшим числом верных сотрудников пытаться хотя бы что-то делать. 11 февраля «Литгазета»

напечатала решение «бюро секретариата правления» об изменениях в редколлегии и появлении в ней идеологически правоверных функционеров. Впоследствии завсектором отдела культуры ЦК Альберт Беляев, курировавший литературу, признается, что секретариату СП была дана жесткая инструкция на удаление Твардовского.

12 февраля Александр Трифонович запишет в своих рабочих тетрадях: «Укладываю вещички». Февральский номер журнала, который был полностью сформирован старой редакцией, подписал в печать уже новый редактор Виктор Косолапов, бывший руководитель издательства «Художественная литература». И потому создалось впечатление сохранения линии «Нового мира». Юрий Буртин подал новому редактору заявление об уходе и одновременно написал коллегам письмо: оставаясь в редакции, «мы становимся прямыми и очень ценными соучастниками преступления, орудием в руках организаторов сталинского переворота».

Первый раз, как мы помним, Твардовского сняли с редакторства «Нового мира» за статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Затем понятие «искренность» трансформировалось в понятие «правда», принципиальное для «Нового мира» 1960-х. Правда была для Твардовского важнее художественных достоинств литературы: он всегда искал в текстах прежде всего фактический материал и не любил, как сам выражался, «беллетризации». Борьба за правду для Твардовского, обласканного властью поэта, автора знаменитого «Василия Теркина», обернулась борьбой за свободу. (Когда Пастернака во время публичного выступления спросили, какое произведение о войне он считает самым важным, он назвал «Василия Теркина». И в ответ на смешки в зале гневно воскликнул: «Я вам тут не шутки шутить пришел!»)

К концу существования «твардовского» «Нового мира» уже громили Солженицына, с которого в 1962-м началась масштабная слава журнала, а сам главный редактор оказался запрещенным автором: поэму «По праву памяти» не пропустила цензура. В январе 1970-го поэма была напечатана на Западе: в итальянском

журнале «Эспрессо», в «Посеве», в приложении к «Фигаро». «Что — я? Кто — я? — записывал 16 января 1970 года в дневнике Твардовский. — Главный редактор “Нового мира” или автор опубликованной в зарубежных изданиях поэмы, ранее запрещенной дома цензурой?» Такая ситуация была для него совсем уж необычной и некомфортной, и он даже соглашался выступить против публикаций на Западе, но только если поэму обсудят на секретариате Союза писателей. Все это оказалось пустыми хлопотами.

По оценке Владимира Лакшина, которого «Трифоныч» видел своим преемником, Твардовский проникся журналом как миссией году в 1960-м. После публикации «Ивана Денисовича», уже в 1963-м, пошли слухи об отставке Твардовского и массированная атака на «Новый мир» в печати, в том числе в «либеральных» «Известиях», с которыми «Новый мир» делил типографию. Приняли в этом участие даже мэтры: Мэлор Стуруа разгромил публикацию в «Новом мире» путевых заметок Виктора Некрасова: фельетон назывался «Турист с тросточкой». 23 апреля 1963 года Лакшин записывает ключевые слова Твардовского о миссии журнала: «У нас нет верного понятия о масштабе дела, которое мы делаем. Для современников всегда иные соотношения, чем в истории. Камер-юнкер Пушкин мог казаться кому-то третьестепенной подробностью в биографии могущественного Бенкендорфа. А выходит наоборот. Ильичева (Леонид Ильичев — секретарь ЦК КПСС по идеологии. — *А.К.*) забудут, а мы с вами останемся».

В 1965-м, к сорокалетию «Нового мира», редколлегия опубликовала свой манифест. Тезисы статьи Твардовского «По случаю юбилея» готовили Владимир Лакшин и Александр Дементьев (его в 1966 году вместе с Борисом Заксом снимут с должности, нанеся ощутимый удар по Твардовскому; Лакшин же проработает замом главного, так и не будучи официально утвержденным в должности). И хотя «передовица» была покорежена в наиболее острых местах цензурой, ее можно считать политическим и эстетическим кредо главного редактора. Здесь есть слова и о Солженицыне, и об отказе от «подмалевывания жизни», и о том,

что правда, которая публикуется на страницах журнала, не может быть использована «врагами из буржуазного мира». «Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были... не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим». Это «На том стоим», вычеркнутое, кстати, цензурой, еще долго потом вспоминали Твардовскому.

Опыт Твардовского рассказывает о том, как избавиться от соблазна самоцензуры, диктуемой политическими обстоятельствами. О том, что не нужно никого бояться, когда пишешь правду: «Предпочтительное внимание журнал уделяет произведениям, правдиво, реалистически отражающим действительность». Еще в 1963 году на высоком собрании Твардовский вступил в спор с крупным литературным функционером Николаем Грибачевым, говоря о том, что настоящий реализм не нуждается в эпитете «социалистический».

Надо понимать, что «Новый мир» Твардовского — это еще и набор эстетических ограничений. Главный редактор принимал только ту прозу, которая ему нравилась. Он не был диссидентом, не любил «эстетства», поэтому в «Новом мире» не печатались многие сильные писатели — их проза не соответствовала вкусу главного редактора. Непростым было его отношение, например, к Юрию Трифонову, несмотря на их приятельские отношения и соседство по дачам в поселке «Красная Пахра». Твардовский успел напечатать в декабре 1969-го первую повесть Трифонова из цикла «московских» — «Обмен», но не разглядел в ней прорыва в отечественной прозе: моральные конфликты в среде нарождавшегося городского среднего класса позднего застоя были неинтересны Александру Трифоновичу. Что касается политических нюансов, то и здесь многие на «первом этаже», где в «Новом мире» сидели редакторы, имели претензии ко «второму этажу», где располагались Твардовский и члены редколлегии. Чересчур острые материалы, которые поставлял «первый этаж», были нередко заведомо непроходными для журнала, выпуски номеров неизменно и мучительно задерживались. Собственно, в логике «первого этажа» и писалась книга Солженицына «Бодался теленок с дубом». Но



невозможно было требовать от подцензурного журнала поведения диссидентского и самиздатовского — иначе он немедленно прекратил бы свое существование. А для Твардовского, как писал Буртин, важно было сохранить журнал — «чтобы продолжать борьбу».

Голубая обложка «Нового мира» была для советской интеллигенции 1960-х символом свободомыслия и антисталинизма (из дневника Буртина за 1969 год: «Вообще одна из главных забот Главлита — защита от критики всего того, что могло бы ассоциироваться с культом Сталина и его последствиями»). Значение журнала Твардовского для пробуждения общественного сознания оказалось не меньшим, а по объему влияния, безусловно, большим, чем неподцензурные литература и публицистика, доступ к которым имели немногие.

Для самого Твардовского журнал, как выяснилось, означал жизнь — в буквальном смысле. Вскоре после разгрома у него обнаружили запущенный рак легких, и 18 декабря 1971 года Твардовский, для которого «правда» была синонимична «свободе», скончался, войдя в историю не литературным сановником, и даже не значительным поэтом, каковым он, безусловно, был, а великим редактором, который победил цензуру. И что еще важнее в контексте сегодняшнего состояния российских печатных СМИ — самоцензуру.

## P.S.

В биографии Юрия Буртина был период, когда ему плотно заткнули рот. Продлился он 16 лет — с того момента, как Буртин в 1970 году после отставки Твардовского покинул разгромленный «Новый мир», и вплоть до самого начала перестройки и гласности. В 2003 году Юрию Григорьевичу снова отказали в праве на собственное мнение, причем посмертно, спустя три года после кончины: автор школьного учебника истории Игорь Долуцкий процитировал Буртина, не слишком деликатно отозвавшегося о перемене власти в России в 2000 году, и пособие «легло на полку» благодаря тогдашнему бдительному министру образования

Владимиру Филиппову. Вот та самая цитата из Буртина, определившего переход власти к Владимиру Путину: «государственный переворот с перспективой установления авторитарной власти президента».

Юрий Григорьевич обладал удивительным нравственным чувством и точной политической интуицией, воспитанной годами жизни при советском режиме, когда ему отменяли защиту диссертации из-за выраженной благодарности коллеге Синявскому, исключали из кандидатов в члены КПСС, громили «Новый мир». (Кстати, в указателе за 1965 год в 12-м номере «Нового мира» была сохранена строка с публикацией Андрея Синявского — неслыханная наглость или безалаберность?) Буртина принято относить к леволиберальной интеллигенции, имея в виду его непримиримую позицию по отношению к любой номенклатуре, в том числе «демократической» (он первым назвал еще в 1995 году наш капитализм «номенклатурным»), к войне в Чечне, близость к партии «Яблоко». Но взгляды Юрия Григорьевича не вписывались в эту строгую политическую нишу — он был более глубоким и сложным человеком.

В 1989 году в журнале «Октябрь» Буртин опубликовал замечательную статью «Ахиллесова пята исторической теории Маркса». Будучи, безусловно, исследователем марксистской школы, Юрий Григорьевич отмечал в марксизме пренебрежение «двумя рычагами прогресса», которым Маркс и Ленин не нашли места в будущем: рынком и демократией. Буртин очень настороженно относился к истории, и в особенности к такому ее качеству, как повторяемость. История прошла по порочному кругу, и у нынешних либералов тот же враг, что и у «Нового мира» Твардовского, — реставраторы и националисты. Тогда это были журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник». Сегодня это реставраторы и националисты ровно такого же покроя и вооруженные тем же набором идей. Коммунистическое мировоззрение биологически исчерпано, но на смену ему уже в 1990-е пришла государственно-патриотическая идеология. Это репродуцированные абсолютно того же процесса, который происходил в эпоху Твардовского.

В 1970-м Буртин замолчал еще и потому, что со смертью журнала и Твардовского для него был утрачен смысл участия в периодической печати эпохи идеологических заморозков. Став во второй половине 1980-х одним из перестроечных гуру, Юрий Григорьевич довольно быстро избавился от иллюзий: с его точки зрения, XX век Россия проиграла, а значит, обеспечила себе проблемы и в XXI столетии. Отсюда, возможно, и резкость статей Буртина последних лет жизни. Впрочем, суховатый стиль новоявленной редакторской школы позволял формулировать мысли ясно и точно: «Если общество... не сможет подчинить себе государство, тогда мы проиграем XXI век...». Юрий Григорьевич всегда смотрел в корень проблемы.

### 3. 1968-й в истории гражданского самосознания

*Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства, точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства, точно так же, как на весь наш народ ложится ответственность за сталинско-бериевские лагеря, за смертные приговоры, за...*

Лариса Богораз, из последнего слова на суде  
11 октября 1968 года

Май 1968 года легко переложить на язык балета. Это был рай для профессиональных фотографов, которые запечатляли человеческую пластику в моменты наивысшего и одновременно изысканнейшего напряжения — человек, швыряющий булыжник, может быть графичен и красив. Особенно, если после этого выясняется, что он не столько разбил физиономию омовцу... пардон, полицейскому, сколько изменил мир, переведя его по вектору полета булыжника из индустриального в постиндустриальный, из старомодной буржуазности — в модерн, из политической ригидности в политическую гибкость.

Май-1968 оказался революцией снизу, когда общество заставило государство измениться и встать вровень с ним: политический и культурный ландшафт западного мира стал иным. То, что было контркультурой стало просто культурой. Политической культуры это тоже касалось.

#### Прага, Париж, Москва — бумеранг 1968-го

Микеланджело Антониони начал снимать «Забриски-пойнт» в августе 1968-го. Майские протесты студентов в Париже, вылившиеся во всеобщую забастовку, давно закончились, оставив, впрочем, неисчезающий рубец на социокультурной ткани западного мира, к тому моменту еще не затянувшийся. По другую сторону железного занавеса уже отцветала Пражская весна —

последние лепестки скоро окажутся под гусеницами танков стран Варшавского договора. Спустя десять лет в «Сталкере» Андрея Тарковского девочка будет взглядом двигать стакан, а пока героиня «Забриски-пойнт», отзанимавшись свободной любовью в пустыне, в конце фильма взглядом мысленно взрывала суперсовременную резиденцию своего босса. Ошметки буржуазной цивилизации, разноцветные, как конфетти, долго, в течение нескольких минут, в замедленной съемке, под композицию Pink Floyd парили в жарком небе. Конец фильма предвляло красное солнце пустыни — оно заходило (или восходило?) под композицию Роя Орбисона с характерным названием *So young* («*Young, so young love was meant to be wild and free...*»<sup>\*</sup>).

И хотя Антониони претендовал на то, чтобы передать дух 1968-го, фильм провалился в прокате. Важнее другое: свое как бы антибуржуазное протестное кино в духе «великого отказа» великий же итальянец снимал на главной в то время студии Голливуда, Metro Goldwyn Mayer, средоточии всего пошло-буржуазного. Без обналичивания папиного чека даже коктейль Молотова не организуешь, следует из «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи, отметившего этим своим фильмом 35-летие 1968-го. А принципиальный антиамериканизм парижского протеста в результате привел к глобализации американского типа, заметил политолог Ян-Вернер Мюллер.

1968-й, изменив мир и стиль жизни, изменил и моду и ее атрибуты и в результате обуржуазил саму протестную эстетику. В январе 1973-го в колонке в «Коррьере делла сера» Пьер Паоло Пазолини — безусловно, со своих левых позиций — пронциательно заметит по поводу некогда «хипповских» длинных волос, утративших свою контркультурную семантику: «О чем говорили эти волосы? Мы не из тех, кто умирает здесь с голоду, не из этих слаборазвитых бедняков, застрявших в эпохе варваров! Мы служащие банка, мы студенты, мы дети зажиточных родителей, работающих в нефтяном государстве; мы знаем Европу, мы много читали.

---

<sup>\*</sup> Молодая, такая молодая любовь должна быть безумной и свободной.

Мы буржуазия, и наши длинные волосы — свидетельство нашей принадлежности к современному, международному классу привилегированных лиц... Круг замкнулся. Субкультура власти поглотила субкультуру оппозиции, сделав ее своей составной частью: с дьявольским проворством она превратила ее в моду».

Характерно, впрочем, что впервые Пазолини увидел настоящих длинноволосых в Праге. Длинные волосы были языком, социальным диалектом протеста. Чего не понимал Пазолини, так это того, что по разные стороны железного занавеса языки протеста отличались друг от друга. И степень риска ношения столь специфической прически тоже была разной.

### *Сердце народа — в заднице СССР*

Наш, восточноевропейский, бунт заговорил по-чешски. По ту сторону железного занавеса протестующие, не зная других языков сопротивления, говорили по-французски и по-немецки. И эти языки были хорошо адаптированы к диалекту марксизма. Собственно, ничего, кроме этого вокабуляра и его готовых форм, у прогрессивного студенчества не было. Оно, это студенчество, признавалось: «Мне хочется что-то сказать, но я не знаю, что именно» (“J’ai quelque chose à dire mais je ne sais pas quoi”). Те, кто претендовал на то, что под булыжниками не только пляж — plage, но и раге — страница, особенно ситуационисты с их лидером и автором «Общества спектакля» Ги Дебором, придумывали изысканные слоганы и слали телеграммы лидерам тоталитарного мира — миллиардерам из Нью-Йорка и Токио и бюрократам из Москвы и Пекина (и это притом, что на улицах хватало маоистов): «Человечество не станет счастливым до того дня, пока последний бюрократ не будет повешен на кишках последнего капиталиста. Точка».

Те, кто поинтеллектуальнее, вдохновлялись Гербертом Маркузе, но сам он, вообще говоря, состоял профессором американских университетов, в своем семидесятилетнем возрасте держась подальше от эпицентра европейских событий. Жак Деррида, заявив, что его беспокоит чрезмерная «спонтанность» Мая-1968, и,

констатировав, что ему «всегда сложно вибрировать в унисон», вскоре после мятежного Мая предпочел отправиться читать лекции в США, обосновавшись на некоторое время в Балтиморе.

Улицы стали страницами, на которых ситуационисты писали свои работы — сжатые до лозунга или, если угодно, твита. Это породнит Май-1968 с протестами в России последних лет. Правда, из опыта слоганов Мая потом вырастет целая рекламно-маркетинговая индустрия глобалистского буржуазного Запада...

В наших же самых веселых бараках социалистического лагеря марксистский язык выглядел совершенно иначе. Лидеры Пражской весны никогда не выступали против социализма — об этом потом писали и говорили все причастные к чехословацкой перестройке, от Александра Дубчека до Зденека Млынаржа. Сама Пражская весна не была протестом, и уж тем более чем-то антирусским или антисоветским. Чешская, точнее, чехословацкая идентичность обретет более внятные очертания только потом, после танков. Милан Кундера писал в романе «Неведение» о ЧССР после августа 1968-го: «Никогда страна не была до такой степени отечеством, чехи — до такой степени чехами».

А пока чехословацкое руководство во главе с Александром Дубчеком приделывало социализму человеческое лицо. И возвращало сердце народа туда, где ему и надлежало находиться: из уст в уста передавалась подлинная история чешской старушки, написавшей в Нобелевский комитет письмо с просьбой присудить премию по медицине Антонину Новотному, чехословацкому руководителю до Дубчека, — «потому что ему удалось пересадить сердце народа в задницу СССР».

Они не думали о демонтаже социализма. Как и советские диссиденты, чья идентичность по-настоящему сформировалась после ареста в сентябре 1965-го Андрея Синявского и Юлия Даниэля, не думали о том, чтобы свергнуть советскую власть. Они требовали соблюдения советской Конституции, гласности процесса Синявского и Даниэля, других процессов, посыпавшихся, как горох. Они не отрицали институты, как их собратья во Франции или Германии, которых не устраивали любые легальные демократические процедуры, включая выборы.

Не свергали советскую власть и адвокаты, о которых уже шел разговор в этой книге. Но они боролись с советской властью за справедливость — методом буквального толкования закона. Дина Каминская, как мы помним, констатировала: пришло время, когда уже недостаточно было не участвовать в государственном политическом разбое — то есть просто молчать, надо было подавать голос.

Что и сделала ее подзащитная Лариса Богораз, которая произнесла, возможно, самые главные слова в истории отечественного диссидентского и правозащитного движения. В последнем слове на процессе по делу семерых (на самом деле восьмерых — студентку Татьяну Баеву взрослым участникам демонстрации удалось «отмазать»), вышедших на Красную площадь 25 августа 1968-го в знак протеста против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, она сказала: «Я люблю жизнь и цену свободу, и я понимала, что рискую своей свободой, и не хотела бы ее потерять... Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать. Для меня промолчать — значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать — значило для меня солгать... Для меня мало было знать, что нет моего голоса “за”, — для меня было важно, что не будет моего голоса “против”».

Вот, собственно, и все.

И это было совсем не похоже на западный протест. В тоталитарном государстве вышедшие на площадь знали, что пойдут напрямик в тюрьму. В полном соответствии с учениями Ленина, Мао и прочих икон Парижа-1968. Западные протестующие тоже сталкивались с жесткостью полиции, но это уже тогда, когда протесты разворачивались в жанре бескомпромиссной уличной герильи.

Талантливая журналистка Ульрика Майнхоф, пока она окончательно не радикализировалась и не занялась прямым и жестоким красным террором, объясняла в 1967 году в журнале Konkret логику своих разногласий с властями Западной Германии и всего западного мира: «Таким образом, преступление — не напалмовые бомбы, сброшенные на женщин, детей и стариков, но протест против этого... Преступны не террор и пытки, применяемые частями



особого назначения, но протест против этого». Спустя год, в 1968-м, она поясняла: «Граница, разделяющая словесный протест и физическое сопротивление, была перейдена в демонстрациях протеста против покушения на Руди Дучке... шпрингеровские газеты сжигали, теперь же была сделана попытка блокировать их доставку... Шутки кончились».

Таким был путь от метания помидоров к коктейлям Молотова.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы между рассерженными людьми в Западной Европе и их восточноевропейскими собратьями совсем уж не было ничего общего. Литературовед Дональд Рейфилд писал, что когда молодые немецкие туристы в Праге кричали: «Вива Дубчек!», чешская молодежь дружно отвечала: «Руди Дучке».

### *От Дубчека до Горбачева*

Танки в Праге стали признаком и символом не силы, а слабости. Чешский диссидент из пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» объяснял: «...просто наши соседи волнуются, как бы их собственные рабы не взбунтовались, если увидят, что нам все сошло с рук». Точно так же сегодняшние российские власти воспринимали все украинские «майданы» вместе взятые и «арабскую весну» — как инфекцию «цветной революции». И потому поспешили взять большинство нации в союзники, инкорпорировав Крым.

Доктрина Брежнева — ограниченный суверенитет стран советского блока, собственно, и была направлена на то, чтобы избежать эффекта домино: история успеха сопротивления хотя бы в одной стране, тем более столь значимой, как Чехословакия, могла вдохновить соседние страны на проекты либерализации. И тогда бы СССР лишился внешнего контура империи, по сути — зон влияния, буферных государств. Точно так же нынешний российский истеблишмент оценивал Украину и как зону влияния, и как буферное государство — территорию, отделяющую Россию от более или менее враждебного Запада.

Советский Союз боялся и другого успеха в выходящих из-под контроля зонах — экономического. Чехословацкая реформа оце-

нивалась как возвращение к капитализму. И она действительно могла выглядеть куда более убедительной, чем заведомо обреченная на провал в условиях «социалистической формы хозяйствования» косыгинская реформа.

1968-й бумерангом вернулся два десятилетия спустя, когда фактически в роли Александра Дубчека оказался Михаил Горбачев, а народ и партия стали на короткое время едины в желании перемен. Остановить Горбачева мог только он сам — над ним не стояли имперский центр и брежневское политбюро. Течение событий заставило его возглавить ту лавину, спуск которой он сам спровоцировал. Трудно предположить, произошло бы то же самое с Дубчеком, что и с Горбачевым, — тот, кто дал свободу, должен был быть готов к тому, что она станет неуправляемой. «Дубчекоманию» могла со временем остановить более масштабная либерализация, а самого его — заместить новые герои нации. Собственно, таким героем как раз двадцать лет спустя и стал Вацлав Гавел.

К власти в Праге пришел «шестидесятивосьмидесятник». Ничего подобного не произошло в западном мире — в одном из недавних интервью Даниэль Кон-Бендит обратил внимание на то, что Францией никогда не правили *soixante-huitards* — сколько-нибудь заметные фигуры Мая-1968. Пройдя через 1968-й, капитализм и его элиты изменились и адаптировались к новым реалиям. Герберт Маркузе, Жан Бодрийяр, Ги Дебор описали их — одномерный человек, общество потребления, общество картинок, общество спектакля, но эти свойства оказались не признаками упадка, а симптомами адаптации. Западный мир продолжил, в соответствии со старым советским анекдотом, свое цветущее загнивание («загнивает, но зато как пахнет!»). А Советский Союз вместе с советским блоком — пал.

### *Три конца истории*

1968-й казался, да и оказался концом истории старой западной цивилизации в том виде, в каком она самосохранилась после 1945 года — царство всеобщего благоденствия, бюрократии и технокра-

тии, буржуазного самодовольства, общества потребления, «подкупившего» рабочий класс. Лидеры Мая-1968 так и не поняли, что пришла эра западного среднего класса, который потом поглотит и революционеров, и их контркультуру, обратив на пользу капитализму нового типа.

По определению немецкого философа Одо Маркварда, революционеры конца 1960-х боролись с тиранией, которая не была тиранией. К тому же «это новое отрицание буржуазности на деле способствовало не демократизации, а прежде всего возрождению симпатий к революционным диктаторам». Тирания оказалась просто слегка устаревшей моделью капитализма, которому пришла пора поменять кожу — место чопорного, длинного и худого, как древко флага, генерала должна была занять девушка-хиппи. Она и заняла, очень скоро став не символом протеста, а привлекательным образом новой буржуазности: актриса Джеки Рэй в образе девицы-хиппи, только очень стильной и чистенькой, красовалась на обложке журнала Playboy за сентябрь 1970-го, в номере был опубликован не только очерк о «революции абортов», но и отчет о встрече Герберта Маркузе со студентами в Нью-Йоркском университете. «Среди студентов растет антиинтеллектуализм. Однако нет никакого противоречия между интеллектом и революцией. Почему вы боитесь быть умными?» — недоумевал философ, чье имя стало одним из символов Мая-1968.

Философия прекрасно смотрелась в будуаре: Маркузе в Playboy — так выглядела буржуазность после 1968 года.

Сразу несколько исторических пластов наложились друг на друга. Буржуазная цивилизация, замкнутая, по формуле Эрика Хобсбаума, в «кольце общественных зданий» — биржа, университет, Бургтеатр, ратуша, парламент, музеи, Гранд-опера, вокзал, собор, — казалось бы, канула в лету. Культура, получившая сокрушительный удар в конце 1960-х от контркультуры, перестала быть изделием «меньшинства для меньшинства» и стала продуктом массового производства. Обновленная западная цивилизация в эпоху пост-1968 стала еще более привлекательным примером для коммунистического Востока.

Эра пост-1968 продлилась до 1989-го — года «бархатных революций», догнавших историю и обозначивших ее очередной конец в виде победы либерализма и демократии западного типа. Восточная Европа, пережив развал Габсбургской империи, а затем фашизм, потом оказавшись в тени советского имперского проекта, избавилась от многодесятилетнего морока. И ей, казалось бы, уже не нужно было искать свою идентичность: вот демократия, вот либерализм, вот военные, финансовые, организационные институты Европы — якорей сколько угодно. Но прошло еще двадцать лет — и история в очередной раз начала корчиться то ли в родовых, то ли в предсмертных муках: пришла эра, которую за неимением других определений назвали эпохой популизма.

История, закончившаяся в 1968-м, а затем еще раз — в 1989-м, началась заново.

И вот опять «улица корчится безъязыкая» в поисках нового языка, способа разговора между правительствами и обществами, теми, кто раньше были левыми и правыми, а теперь стали непонятно кем. И вот против призрака новой тирании, уже гораздо более серьезной, чем послевоенные демократии старой Европы, существующей под ярлыком популизма, восстают новые «раздраженные» приверженцы демократии и либерализма старого типа, выходящие на улицы Варшавы и Будапешта. А в Париже, как и 50 лет назад, на улицы выходят люди, выступающие против капитализма, называющие себя «Черным блоком» и устраивающие погромы в Макдоналдсе и автосалоне Рено.

Пародия на 1968-й... И как полвека назад, протесты приверженцев универсальных демократических ценностей в Восточной Европе оказываются более благородными по смыслу и мирными по форме по сравнению с безмозглой бузой западноевропейских людей в черном, в прошлом — в красном. Опять, как и тогда, на востоке Европы — антитоталитарный протест, на западе — прокоммунистический. У тех, полвека назад, не было другого языка, кроме заемного, но по крайней мере был стиль. Этот стиль безвозвратно утрачен... Здесь уже не отделаться фразой о том, что история повторяется. Какая-то новая история начинается. Какая

бабочка выпорхнет из куколки протестов по обе стороны теперь уже невидимого железного занавеса? С каким рисунком на крыльях?

## Театр «Россия»

Одним из знаковых событий 1968-го было покушение на лидера Социалистического союза немецких студентов 28-летнего Руди Дучке, не менее символической фигуры 1968 года, чем похожий на молодого Иосифа Бродского Даниэль Кон-Бендит, по поводу которого потом возникнет один из лозунгов Мая-68: «Мы все немецкие евреи». А из этого слогана спустя многие десятилетия вырастет «Я — Шарли» и многие его ответвления.

Йозеф Бахманн выстрелил в Дучке и заявил, что был вдохновлен произошедшим в том же апреле 1968-го убийством Мартина Лютера Кинга. Весьма противоречивая фигура немецкого протеста выросла в глазах мировой общественности до масштаба выдающегося американского проповедника.

То, что проповедовал Дучке, было не слишком удобоваримой смесью марксизма, анархизма, экзистенциализма. Диссертацию он писал по Георгу Лукачу. Был близок к Интернационалу ситуационистов, чье учение решительно невозможно изложить систематическим образом. Зато в мае 1968-го оно окажется чрезвычайно щедрым на лозунги. Если писатель Морис Бланшо придумал слоган «Будьте реалистами — требуйте невозможного», то ситуационисты Кристиан Себастьяни и Рене Вьене гуляли еще более широко: «Будем жестоки»; «Я принимаю свои желания за реальность, потому что я верю в реальность своих желаний»; «Потребляйте больше, живите меньше», «Никогда не работайте». И главное — «Не трать время впустую, наслаждайся без границ». На знаменитой фотографии Картье-Брессона запечатлен пугливый старичок, одетый в буржуазную «форму» — костюм, галстук, шляпу, приличные ботинки, и он шарахается от этой максимы, накарябанной на заборе. Впрочем, кто бы мог сказать, что он в молодости не «наслаждался без границ», несмотря на свою буржуазность, а может быть, благодаря ей?

Покушение на Дучке перевозбудило немецких студентов, что, в свою очередь, стало образцом для их французских собратьев, которые спустя пару недель взорвали Францию и мир.

Что хотели они, изысканные молодые люди, совершая балетные па с булыжниками в руках на Буль-Миш и других бесконечно обаятельных бульварах и улицах левого берега Парижа, следуя невнятице Дучке и Кон-Бендита? Хотели изменить мир, причем преуспели в этом. У них не было другого языка, кроме марксистского диалекта, они не умели выразить себя иным образом, тем более что в то время философия щедро дарила им слова, термины, понятия. Но, будучи как бы марксистами, они позволяли капитализму в очередной раз, закамуфлировавшись, выжить.

Спустя 50 лет в другой части земного шара в городе под названием Волоколамск на улицы выйдут люди, протестующие против свалок и вони, совершенно не обученные марксизму, анархизму, ситуационизму, маоизму, ничего не знающие о Маркузе, Деборе, Лукаче, Грамши, Мао, Сартре и даже Симоне де Бовуар, не желающие изменить мир и сменить власть, а стремящиеся дышать свежим воздухом. И против них тоже бросят полицию. Потому что за полвека власть не придумала иных способов защищать себя, кроме как применять насилие.

«Трепещите, бюрократы!» — грозили активисты Мая-68. То же самое могли бы повторить за ними борцы с экологической катастрофой, следствием безразличия, коррупционности и импотентности властей, если бы они обрели подлинную речь, если бы у них был свой язык и если бы они понимали прямую связь между устройством политического режима и их как бы бытовыми проблемами. Как не могли нащупать свой язык и эту связь те, кто объединялся в борьбе с городскими властями против застройки дворов, против строительства храмов в скверах, против наступления «инфраструктуры» на парки, против сноса пятиэтажек, против безалаберности, ведущей к пожарам, против вторжения в частное пространство начальственной «эстетики», чьим средством общения с давних пор является бульдозер и с недавних — ОМОН.

Язык мира после 1968-го стал другим. Как иным стало человеческое поведение. Порядок возобладал над беспорядком, но госу-

дарство и общество на Западе радикально изменились. «Переменам — да, карнавалу — нет» — это уже был слоган голлистской стабилизации. Однако перемены действительно наступили — государство стало другим, общество обрело еще несколько степеней свободы.

Нынешний российский режим сопротивляется переменам, как может. Но его проблема в другом — в поразительной повседневной неэффективности. Весь в буквальном смысле цивилизованный мир научился перерабатывать мусор, а этот самый суверенный режим превращает его в отравляющее вещество, толкая об абстрактных технологических прорывах. Прорывы в здравоохранении стали нормой в западном мире, российские скрепы выжимают последние соки из коры дуба, залечивая ими обиды и оскорбления самых разнообразных чувств. Наш «прорыв», бессмысленный и беспощадный, может вести только к сталинской мобилизации. Которая, впрочем, не состоялась бы в свое время без буржуазных специалистов, а теперь их собираются гнать и в дверь, и в окно. Хотя они не очень-то стремятся в это окно войти.

Не зная работы идола 1968-го Ги Дебора «Общество спектакля», наше государство научилось ставить спектакли. На улицах и в залах суда. Постановки заменяют реальное решение реальных проблем. Афиши — планы реальных преобразований. Долго ли можно жить в фиктивном мире?

## Папин чек против булыжника

Бернардо Бертолуччи принадлежит одна из самых изысканных попыток осмысления 1968-го, хотя, конечно, кино всегда служило инструментом препарирования и трансляции смысла и содержания шестидесятых. В 2003-м он снял попсовую версию событий мятежного Мая, картину, популярно разъясняющую *Zeitgeist*, дух революционного времени, решительно непонятный сегодняшним двадцатилетним. Не случайно он делал фильм «Мечтатели» в год 35-летия студенческой революции, словно бы отмечал тем самым юбилей. Эта лента — историко-методическое пособие, попытка

показать поколение родителей, а заодно генерацию дедушек с бабушками, шпаргалка для нынешних студентов, изучающих историю по учебникам, где нет плоти и крови, — особенно полезна для российской молодежи, в лучшем случае заканчивавшей начальную школу при Ельцине, а то и уже при вечнозеленом Путине. Мастер завернул сложный материал в понятную простым юношам и девушкам, которым легко быть молодыми, эротическую обложку. Так обучают маленьких детей — в игре, чтобы им не было скучно.

При всей сознательно культивируемой поверхностности «Мечтатели» напоминают многослойный пирог: кому-то понравится голая девушка и заодно он узнает о том, что в 1968-м в Париже была какая-то заварушка; иные получают удовольствие от угадывания киноцитат и поймут, почему главная героиня 1948 года рождения считает себя родившейся в 1959 году — в день просмотра «На последнем дыхании» Годара; другие полезут еще глубже, узнавая не только эпоху, но и фрейдистские штучки, и так до бесконечности. Все остаются довольны, не все по эстетическим причинам выдержат сцену лишения девственности, а иные сочтут этот фильм и вовсе комедией. Такое время — сейчас невозможно подавать и тем более продавать историю идей и людей в той стилистике, которой когда-то придерживался 30-летний Бертолуччи, снявший в 1970 году «Конформиста» по Альберту Моравиа.

Это учебное кино очевидным образом перекликается с кино-эпохой конца 1960-х. Скорее даже начала 1970-х, потому что именно тогда великие мастера начали переосмысливать уроки 1968 года и постепенно бронзовевшей на глазах контркультуры.

Бронзовевшей, потому что из маргинальной субкультуры она постепенно превращалась в модный массовый мейнстрим, то есть катастрофическим для себя образом обуржуазивалась, распалась на цитаты и модные аксессуары.

Мотивы насилия/ненасилия важны для Бертолуччи-2003, хотя он и дистанцирован от Мая-68 во времени. Когда 1968-й год еще был с пылу с жару, когда его уроки занимали всех серьезных философов того времени, а философией было кино, учебником



жизни — увязший в марксизме и структурализме французский журнал «Кайе дю синема», в ту же проблему был погружен и исследователь тонких душевных движений высшего класса послевоенной Италии Микеланджело Антониони. В 1970-м в уже названных нами зашифрованных смыслах «Забриски-пойнт» черные студенты отстаивали практику насилия, а белые — теорию ненасильственного сопротивления. Ключевая же, последняя сцена «Мечтателей» — это киноразбор проблемы осмысленности/бессмысленности насилия: Тео променял родительское коллекционное вино из семейного подвала на «коктейль Молотова» (а у самого в голове непереваренный коктейль из Мао, «Кайе дю синема» и кинопотока XX века), Мэтью благоразумно удаляется с баррикад.

В «Мечтателях» вроде бы нет прямых аллюзий на висконтиевский «Семейный портрет в интерьере», вышедший в прокат более сорока лет назад и спустя пять лет после 1968-го, но весь фильм Бертолуччи смотрится как облегченная и адаптированная цитата из Лукино Висконти. Профессор, главный герой «Портрета», заточен в своей роскошной старой квартире и отказывается от связи с внешним миром. «Мечтатели» тоже запираются в квартире, как если бы они поселились в декорациях Висконти. Профессора возвращает к реальной жизни бойкая молодежь, бегающая по комнатам гольшом и занимающаяся сексом, те же самые занятия, сообразно духу времени и гиперсексуальному возрасту, увлекают героев Бертолуччи — Тео, Изабель и Мэтью. Насилие пробуждает к жизни профессора — фашиствующие персонажи убивают Конрада, обуржуазившегося бывшего активиста 1968 года. Насилие спасает от смерти бертолуччиевскую троицу: булыжник, оружие пролетариата, разбивает окно заполняемой газом квартиры.

Принципиальное отличие Висконти-1974 от Бертолуччи-2003 в том, что последний с высоты постиндустриальной эпохи не судит своих персонажей и не указывает, кто прав, а кто не прав. Правы и одновременно не правы те, кто отправился швыряться коктейлями и камнями в полицию, и те, кто отказывался от насилия, потому что оно бессмысленно и провоцирует ответ-

ное насилие. В «Семейном портрете» профессор однозначно не прав — потому что потерял связь с жизнью, где есть фашисты и есть протест, и потому для него даже «невообразимы», как выразился сам Висконти, анализируя собственный фильм, «плотские отношения». Конрад тоже отнюдь не безукоризненно положительный персонаж: в глазах режиссера, будучи выходцем из буржуазной семьи, он слишком быстро предал идеалы 1968 года. Лукино Висконти «так видел» собственных персонажей, поскольку был коммунистом и своим фильмом призывал «возводить баррикады великой интеллектуальной и моральной революции».

А вот из «Мечтателей» невозможно извлечь уроки. 1968 год слишком далеко, чтобы «зажечь» каких-нибудь радикальных леваков. Альтюссер с Лаканом кажутся неудобоваримой тарабарщиной. Годаровские фильмы для молодых сложны и скучны. Контркультура если и возникает в сегодняшних российских мегаполисах, то исключительно для того, чтобы немедленно переплавиться в массовую культуру, мейнстримовский образ жизни. И потому 1968-й с его «мечтателями» — это всего лишь просто история, оживленная Эросом. У ироничного Бернардо Бертолуччи, лишаяющего киносредствами невинности уже вторую красавицу-актрису (вслед за Лив Тайлер в «Ускользящей красоте» — Эву Грин), пафос молодежного протеста полностью девальвируется тем, что без обналичивания родительского чека и употребления папиного вина юноши и девушка не могут существовать физически. Буржуазные материальные ценности побеждают силу интеллектуальной революции, запертой в квартире, а потом вырывающейся на баррикады, которые не способны защитить молодые жизни. Уж лучше папин чек, чем смерть на улице, где под булыжниками — пляж.

## Ребрышки Брежнева, мозги Ульбрихта

А теперь с парижских мостовых — на улицы Праги. Весной 1968-го Александру Евгеньевичу Бовину, тогда работавшему в ЦК, знакомые привезли из Чехословакии меню придорожной

корчмы: «Печень Яноша Кадара; ребрышки Леонида Брежнева; мозги Вальтера Ульбрихта; язык Владислава Гомулки; яйца Тодора Живкова». Цензура была де-факто отменена не только в ресторанном секторе, но и в печати. К августу 1968-го дело дошло до публикации карикатуры на Брежнева — министр внутренних дел ЧССР Йозеф Павел отказался давать команду на конфискацию тиража: «Если я уступлю раз, уступлю другой, то мы вернемся к тому, что уже было. Тогда тоже все начиналось “в виде исключения”, а потом стало нормой».

Судя по всему, Павел имел в виду февральские события 1948 года, когда коммунисты пришли к власти в Чехословакии. 10 марта 1948-го последний беспартийный член коммунистического правительства Ян Масарик был найден мертвым во дворе министерства иностранных дел (до сих пор расположенного в Чернинском дворце в Градчанах) под окнами своей служебной квартиры, которая сейчас так и называется — Masaríkův byt. Однажды я стоял у этого окна, из которого выбросился или был выброшен Масарик. Эффект присутствия в истории — абсолютный. Подоконник находится довольно высоко — самоубийце или убийцам явно пришлось приложить немало усилий, чтобы министр иностранных дел и сын первого президента Чехословакии оказался в оконном проеме. Версий до сих пор много, по одной из них Масарик спасался от преследователей по карнизу внутреннего двора Чернинского дворца и сорвался вниз...

5 апреля 1968 года на пленуме ЦК Компартии Чехословакии была принята Программа действий КПЧ «За развитие социалистической демократии». За экономическую часть отвечал Ота Шик, чей план экономической реформы и десятилетия спустя изучался будущими реформаторами российской экономики, за политическую — Радован Рихта, придумавший словосочетание «социализм с человеческим лицом». Из чего можно было заключить, что у обычного социализма лицо — античеловеческое.

Началась Пражская весна, феномен, который стал предвестником развала коммунизма, но для начала — преддверием заморозков в Советском Союзе. Тогда тоже умели «бомбить Воронеж» и страшно боялись распространения либерализационной инфекции

с ближнего Запада, считавшегося советской зоной влияния. Боялись за Украину, за советскую интеллигенцию, за студенчество Польши и Венгрии... Брежнев говорил Александру Дубчеку, который не прекратил сопротивления и после вторжения войск Варшавского договора, о том, что самостоятельной политики у чехословаков нет и быть не может. Потому что ЧССР находится в пределах территорий, которые освободил советский солдат. А «границы этих территорий — это наши границы».

Такое понимание мира как зон влияния потом назовут «доктриной Брежнева», или доктриной ограниченного суверенитета. Каждая страна Восточного блока была важна как элемент внешнего контура империи — своего рода буферная империя — 2.0. Не так ли воспринимали у нас Украину Януковича — как часть воображаемой квазиимперии, «Русского мира»?

После Второй мировой войны Густав Гусак предлагал присоединить Словакию к Советскому Союзу. Про другую страну говорили: «Курица не птица — Болгария не заграница». Подавление венгерского восстания в 1956-м показало, как готов действовать СССР, даже находившийся в стадии десталинизации. Все говорило в пользу того, что к чехословацким событиям советское руководство отнесется со всей серьезностью.

Как без Украины был невозможен Советский Союз, так и без Чехословакии, Венгрии, Польши, тех стран, которые теперь относятся к Вышеградской группе, не мог существовать Восточный блок. Поэтому Брежнев, к которому был вхож цеховский либерал и спичрайтер Бовин, не устроило предположение Александра Евгеньевича по поводу того, что ЧССР просто станет чем-то вроде Югославии или Румынии в группе «стран народной демократии», а издержек от ввода войск будет гораздо больше, чем приобретений. Никакого «веселого барака» в соцлагере тогдашнее Политбюро не могло позволить — потерять Чехословакию означало потерять все и, возможно, получить эффект домино.

Члены Политбюро довольно быстро поняли, что либерализация затеяна именно новым руководством Чехословакии, таким вроде бы симпатичным и динамичным, и что оно совершенно не

собирается сдерживать низовую демократизацию. Хотя поверить в то, что коммунистические ЦК и правительство могут отменить цензуру и смотреть сквозь пальцы на то, что пишется в газетах и говорится в клубах, Москве было не просто — Брежнев с изумлением выслушивал уверения Дубчека, что ничего страшного не происходит. А потом, как бы оправдываясь, рассказывал на Политбюро о содержании разговоров с «Сашей», он же «Александр Степанович».

Советское руководство рассчитывало на «здоровые силы» в чехословацком руководстве. Самым «здоровым» был глава ЦК Компартии Словакии Васил Биляк, который обсуждал тактику и стратегию подавления «социализма с человеческим лицом» с московским связным и географическим соседом — первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом, человеком крайне жестким и решительным.

«Здоровые силы» явно проигрывали, и при всем своем нежелании Политбюро было вынуждено вести разговоры с Александром Дубчеком и главой правительства Олдржихом Черником, последовательно проводившими реформы. 16 мая на заседании Политбюро прагматичный Алексей Косыгин рассуждал о том, что ввод войск необходим, но следует оценить, насколько мощны «здоровые силы», не следует ли вывести, когда понадобится, «рабочие вооруженные отряды».

Эта омерзительная логика — имитация «народного» противостояния реформам — была дополнена «альтернативными фактами» о том, что демократизация затеяна ЦРУ и разведслужбами ФРГ, а также классическими чекистскими провокациями, столь же гадкими, сколь и неуклюжими. В июле, например, были «обнаружены» закладки тайников с американскими автоматами, правда почему-то времен Второй мировой. США снабжают контрреволюцию оружием, сообщила советская пресса. Происхождение автоматов было быстро выяснено — они хранились на складах советской группы войск в ГДР. А план идеологических диверсий, «разработанный в ЦРУ» и обнародованный аж в газете «Правда», был подготовлен прямо на Лубянке службой «А» (служба дезинформации) КГБ СССР.

С 28 июля по 1 августа на пограничной железнодорожной станции Чиерна-над-Тиссой велись решающие переговоры между советским и чехословацким руководством. «Каждое утро наш состав пересекал границу, — вспоминал Александр Бовин, — и мы плавно въезжали в Чиерну-над-Тиссой. Переговоры велись в фойе клуба железнодорожников. Охраны — тьма. Никаких фото- и киноаппаратов. Но вернувшись в Москву, я увидел на развороте журнала «Пари-матч» запечатленное заседание, даже себя обнаружил. История не любит тайн».

Брежнев и его свита натолкнулись на отчаянное сопротивление «нездоровых сил». Дошло до прямых обвинений и оскорблений. Косыгин отказывался разговаривать с «галицийским евреем» — одним из чешских руководителей, Франтишекком Кригелем. Потом, когда чехословаков прямо перед вторжением привезут в Москву — то ли в качестве договаривающейся стороны, то ли в качестве арестантов, — повторятся антисемитские выпады в адрес Кригеля и Оты Шика. Косыгин, когда речь шла о внешнеполитических вопросах, становился ястребинее любого ястреба. А здесь, может быть, он еще и завидовал: то, что планировалось в 1965-м как экономическая реформа в СССР, к 1968-му фактически захлебнулось, а чехословаки всю готовили уже настоящую реформу, доказав, что она возможна только на фоне политической демократизации. Роскошь, которую советская власть себе позволить не могла.

Для вторжения советскому руководству нужна была письменная просьба «здоровых сил». Эти самые силы, боясь попасть в историю во всех смыслах слова, сомневались и сопротивлялись. Понимая, впрочем, что они должны быть помазаны одной кровью с советскими танками — проехаться на них безбилетниками не получится. И потому, под гарантии неразглашения фамилий подписантов, согласились. В Братиславе на совещании компартий 3 августа Биляк через сотрудника КГБ передал это письмо своему постоянному контрагенту Шелесту. Передача состоялась в туалете. На всякий случай семья Биляка была эвакуирована в Киев. Фамилии подписантов стали известны, по свидетельству Бовина, в 1992 году.

Так осуществлялось вторжение — по просьбе анонимных чехословацких бюрократов, с помощью письма, стыдливо переданного в туалете.

В апреле 1969-го Дубчека заменят на Гусака. Но чуть раньше, 21 марта, на чемпионате мира по хоккею, перенесенном из Праги в Стокгольм, состоится акт мести: на 33-й минуте матча ЧССР — СССР счет откроет защитник Ян Сухи, а на 47-й — Йозеф Черны забросит вторую безответную шайбу в ворота Виктора Зингера, заложив основу иронической поговорки — «во рту сухи, а в глазах черны». Чехословаки говорили: «Вы нам танки, мы вам — бранки (шайбы)».

1968-й оказался годом окончательной заморозки в социалистическом лагере. Заморозка означала не решение проблем, а откладывание их на потом. И это «потом» рвануло с удесятеренной силой спустя 20 лет, когда «бархатные революции» изодрали в клочья железный занавес.

Восточноевропейских вождей не спасли ни «гуляшный социализм», ни жесткий надзор спецслужб, ни вечная дружба народов, скрепленная страстным поцелуем Брежнева и Хонеккера. СССР добровольно отказался меняться и еще более ожесточенно стал бороться за свои зоны влияния, тем самым подписав себе приговор с отложенным исполнением.

## Наша и ваша свобода

Демонстрация семерых правозащитников, протестовавших против ввода советских войск в Чехословакию, заставляет заново осмыслить «гамлетовский» вопрос: «Что вам надо: демократии или севрюжины с хреном?» На протяжении всей российской истории явный приоритет отдавался севрюжине с хреном, причем даже в те времена, когда ее днем с огнем было не сыскать. Собственно, милиционер из 50-го отделения милиции, куда в солнечный воскресный день 25 августа 1968 года свозили демонстрантов, сказал одному из них, физику Павлу Литвинову: «Дурак, сидел бы тихо — жил бы спокойно». В конце 1960-х, когда СССР насаживал сам себя на нефтяную иглу и начинался

относительно благополучный брежневский застой, не омраченный даже выдохшейся к тому времени косыгинской реформой, такая позиция была близка большинству советских людей.

Демонстрация на парапете Лобного места началась в 12 часов дня под бой курантов и длилась приблизительно одну минуту, до того самого момента, пока люди в штатском и «случайно» прогуливавшиеся рядом военнослужащие в/ч 1164 не начали вырывать плакаты и бить участников действия. «Как вам не стыдно!» — сказал демонстрантам кто-то из зевак, а к вечеру по Москве ходили рассказы о том, что «на Красной площади демонстрировала чешка с ребенком» (имелась в виду Наталья Горбаневская). То есть рядовые обыватели не могли поверить в то, что кто-то из граждан СССР мог решиться на такой шаг, а сама демонстрация казалась нелепой антисоветской хулиганской выходкой.

На сочувствие общественного мнения и милосердие правосудия не надеялся никто из участников акции. Об этом в ходе судебного процесса говорили и Лариса Богораз, и Павел Литвинов. Все знали, на что шли, все получили сроки, а Горбаневскую, мать малолетних детей, советская власть настигла чуть позже, в 1970-м, ее упекли в психушку. Вообще у большинства демонстрантов были семьи и дети, что теоретически могло бы их остановить. Все они были в этом смысле обычными людьми («отмазали» же они восьмую участницу, студентку Татьяну Баеву, доказав, что она якобы случайно была схвачена). Но для них демонстрация была неотъемлемым актом личной нравственной гигиены. Они не смогли спасти имидж Советского Союза, хотя, выходя на площадь, пользовались официально дарованными Конституцией 1936 года правами. (Правозащитники вообще, как мы уже знаем, всегда слишком хорошо знали и буквально трактовали советское конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное и исправительно-трудовое право.) Зато спасли имидж советского народа, показав на личном примере, что эпоха полного единомыслия заканчивается.

С простых советских людей — филологов Ларисы Богораз и Константина Бабицкого, поэтов Натальи Горбаневской и Вадима Делоне, рабочего-электрика Владимира Дремлюги, физика Павла Литвинова, искусствоведа Виктора Файнберга — началось реаль-



ное размывание монолитного сталинского гранита советской идеологии. Подвиг семи чувствительных к вопросам чести и совести людей подготовил и перестройку, и реформы, и все то, что происходило в политической истории России в последние теперь уже почти 20 лет. В этом смысле и политик Владимир Путин, как ни странно, — «дитя» августа 1968 года.

Демонстранты держали в руках четыре плаката: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», «Руки прочь от ЧССР!», «Долой оккупантов!» и самый знаменитый — «За нашу и вашу свободу!». В последнем лозунге, позаимствованном у польского освободительного движения XIX века, содержался основной идеологический меседж диссидентов. Путь Чехословакии к социализму с человеческим лицом тогда казался эталонным: хотелось такой же, как там, свободы. (По иронии истории, у нового чешского президента была фамилия Свобода. Отечественная интеллигенция шутила: «Что такое Свобода? Осознанная необходимость».)

Семерка демократов вводила в мировоззренческий оборот новое, немарксистское толкование свободы, сформулировала не словами, а действием собственно ценность свободы, за которую можно пойти в лагерь и в психушки.

Ценность свободы забыта, девальвирована, осмеяна. Но чем циничнее время, тем очевиднее запрос на свободу — пусть не в романтическом, а в строго прикладном, даже «шкурном» смысле: при политически и экономически свободном режиме есть и демократия, и севрюжина с хреном. Мы не чувствуем связи между подвигом 1968 года и сегодняшним днем, но на самом деле она прямая. Лично я, не стесняясь пафоса, говорю всем еще оставшимся в живых из «великолепной семерки»: «Спасибо. Спасибо за нашу и вашу свободу». По крайней мере, свободу внутреннюю.

## Второй ввод танков в Прагу

Несколько лет назад, вскоре после аннексии Крыма, Россия во второй раз в истории ввела танки в Прагу. Правда, виртуальные: телеканалом «Россия» был продемонстрирован документальный

фильм «Варшавский договор. Рассекреченные страницы», оправдывавший вторжение в 1968 году войск Варшавского договора в Чехословакию. Что и спровоцировало вызов посла России в чешский МИД для объяснений.

Здесь нет ни одной рассекреченной страницы: только подлинное черно-белое кино позднесоветского образца. А какие тут могут быть объяснения? Лично президент в своих выступлениях на исторические темы уже оправдывал финскую кампанию, пакт Молотова — Риббентропа, афганскую войну.

Рано или поздно должен был настать черед Чехословакии — в тех же словах и в той же логике, которая использовалась 47 лет назад: «Мы ИХ освободили в 1945-м, а ОНИ...» И как всегда — 1945 год все спишет, в том числе и телевизионную поделку, наполовину состоявшую из кадров советского пропагандистского фильма с соответствующими закадровыми голосами, включая сына Хрущева Сергея. Что характерно — по Скайпу из Бостона.

Казалось бы, к чему это кино, объясняющее вторжение кознями НАТО и бундесвера и подготовкой вооруженного переворота при поддержке Запада? Зачем портить отношения еще и с Чехией и Словакией?

А к тому и затем, что, во-первых, фильм должен вызывать аллюзии с киевским «майданом» — вроде как сценарий революции тот же. Не зря сурово-ироничный закадровый голос с грустной горечью и праведным гневом полощет понятие «Пражская весна».

Во-вторых, к тому, что фильм рассчитан не на внешнюю аудиторию, а на внутреннюю: та же Чехословакия — лишь повод для того, чтобы перебросить мостик от времен почти полувековой давности в сегодняшний день. Да кто ж мог подумать, что чехи возмутятся? И кто же у нас помнит, что 1968-й — главная историческая травма и для чехов, и для словаков?

Постсоветскому человеку, вроде бы уже почти четверть века не живущему при социализме, в кинофильме разъяснили, что войска были введены для спасения социалистических завоеваний. Ну а кроме того, из Швабии (!) к границам Чехословакии были переброшены войска НАТО. Более 300 тысяч немцев побывало в

Чехословацкой Республике. Ну и, наконец, обнаружены были склады оружия (те самые, организованные службой «А» КГБ), а «Клуб 231» готовил реваншистский «майdan».

А если кроме «клубной закулисы» в истории бывает такой субъект, как народ? И этот народ хотел другой жизни.

Нет, какой уж тут «Клуб 231» — здесь речь шла обо всем народе Чехословакии и его новом, реформаторски настроенном коммунистическом руководстве. О желании народа и элит превратить Чехословакию, как выразился Алексей Косыгин, для начала в Югославию, «а затем что-то похожее на Австрию».

...В марте 1950 года чешская тайная полиция прямо в пражской пивной «У Герцлику» неподалеку от Народного театра арестовала несколько человек из блестящей сборной Чехословакии — лучшей команды Европы, чемпиона мира 1947 и 1949 годов. Хоккеисты были отправлены в тюрьмы и на урановые рудники за неправильные разговоры и намерения сбежать на Запад. Но уже 19 лет спустя, на чемпионате мира по хоккею 1969 года в Стокгольме, наследники той сборной отомстили и тайной полиции Чехословакии, и властям Советского Союза: легли костями, но дважды переиграли сборную СССР. А в 1972 году, когда сборная Канады после победы в Москве в Суперсерии сыграла выставочный матч в Праге, болельщики овацией встретили канадского форварда Стэна Микиту, на самом деле — словака Станислава Гоута, чьи родители бежали за океан от коммунистов.

Очень легко на том историческом этапе, когда в России никто ничего ни о чем не хочет знать, внедрять «единое» представление об истории, а на самом деле по-настоящему переписывать ее, упрощая и подстраивая под свой страх перед мифическим «майdanом».

Телевизионному агитпропу давно пора заняться советскими диссидентами, объявив их предшественниками «иностранных агентов». Как раз пражские события дают очень удобный повод: выход семерых смелых на Красную площадь 25 августа 1968 года — это же все, ясное дело, инспирировано Западом. А в качестве закадрового текста можно зачитать практически целиком приговор Мосгорсуда от 11 октября 1968 года — кто ж это заме-

тит: «Богораз-Брухман, Литвинов, Бабицкий, Делоне и Дремлюга, будучи не согласны (так в приговоре. — *А.К.*) с политикой советского правительства, решили организовать сборище на Красной площади с целью пропаганды своих клеветнических измышлений».

История сложна, в ней есть народ — источник власти и субъект многих процессов. И в ней есть «семеро смелых», подлинные герои России, спасшие репутацию своей страны.

## 4. Галич, Кормер, Тарковский, Мамардашвили, Трифонов и другие — слово, звук, изображение

*А потом вечерами или в свободное время они слушают радио или магнитофон с нашими песнями, читают перепечатки книг, которые приходят с Запада, и это, если так можно выразиться, — молчаливые инакомыслящие.*

Александр Галич, из интервью, 1974

Пути к свободе — разные. И понимание свободы — разное. И использование ее — в отсутствие инструкций по уходу и употреблению — тоже сильно различается. Каждый из тех, о ком пойдет речь в этой главе, «выбрал свободу» в несвободной стране и жил так, как будто несвободы не было. Правда, некоторым страну пришлось покинуть. Они были образцами и примерами для подражания и духовными поводырями. И раскрепостили сознание, наверное, миллионов людей.

### Галич. Крик шепотом

Сегодняшняя архаизация публичного разговора и представлений о реальности проявляется не только в устрашающе карикатурной подражательности действиям и логике советских властей 40, 50, 60-летней давности, но и в том, насколько ошеломляюще актуальным оказывается дискурс инакомыслия тех баснословных времен. Более четырех десятилетий прошло после смерти Александра Аркадьевича Галича, а тексты его песни можно распространять как удачные комментарии в соцсетях к самым животрепещущим темам из новостной ленты.

Собственно, гитара и «домашники» (как потом «квартирники») такими социальными сетями и были. Технические средства доставки — дефицитные магнитофоны, редко кому доступные ксероксы, перепечатываемый и переплетавшийся самиздат: «Эрика берет четыре копии» (согласно одному их самых извест-

ных «мемов» самого Галича), а для переплетов существовали соответствующие мастерские, включая, для самых продвинутых, мастерскую Льва Турчинского в ГМИИ.

Социально-сетевым был и способ разговора и описания повседневности: лирическо-ироническая беседа или рассказ о реальности с использованием стихов, речитативов, песен под гитару — ну не под рояль же!

Театрально-игровой Александр Галич дополнялся нахраписто-псевдонародным Владимиром Высоцким и деликатным, как интеллигентское покашливание, Булатом Окуджавой. Разве что Мераб Мамардашвили не пел свои лекции под гитару приятным баритоном, хотя его смело можно ставить в этот социально-сетевой ряд.

Александр Аркадьевич щадил свою аудиторию — он вообще, по воспоминаниям историка искусства Игоря Голомштока, был человеком очень мягким и добрым. Щадил в том смысле, что не требовал от нее подвигов. Ему было достаточно того, что эти обыкновенные советские люди находили в себе смелость его слушать, чуть ли не по сто человек набиваясь в обычную комнату. И это был тот самый советский образованный городской средний класс, который Александр Солженицын презрительно назвал — в те же годы, что Галич пел, — «образованщиной» за стремление приспособиться к обстоятельствам советской власти, держа фигу в кармане.

Галич рассуждал совершенно иначе: этим людям 30–40 лет, они обзаводятся семьями, им нужно эти семьи обеспечивать, ждать от них бескомпромиссности нечестно, они и так читают запрещенные книги, слушают голоса и приходят на нелегальные концерты. Это, по определению Галича, представители «молчаливого резистанса», тихого, но, вообще говоря, последовательного этического сопротивления. Машину власти ты сломать не можешь, а слушать Галича у себя в квартире — вполне способен.

Конечно, это как ругать сегодняшний политический режим в модном кафе и посмеиваться над демонстративной глупостью неистовых адептов власти в медиа. Но иногда именно это этическое сопротивление вдруг обретает голос на улицах и площадях, возможно, не ведая, что у него были предшественники. Те, кто в

1965-м вышел на Пушкинскую со сверхактуальным сегодня лозунгом (за вычетом слова «советскую») «Соблюдайте советскую Конституцию!», те, кто вышел на Красную площадь в августе 1968-го. О них — за день до акции, причем не зная о ней, — Галич написал свои самые знаменитые слова из «Петербургского романа», песни о декабристах: «Можешь выйти на площадь, / Смеешь выйти на площадь, / Можешь выйти на площадь, / Смеешь выйти на площадь / В тот назначенный час?!»

В 1970-е Галич полагал, что «то половинчатое существование, которое мы еще вели в начале шестидесятых годов, — сегодня невозможно. Пришла пора открытого голоса, поднятого забрала». Как же эта позиция похожа на моральный императив Дины Каминской! Но, «выбирая свободу», Галич повторял, что он не требует этого от своей молчаливо сопротивляющейся аудитории. И очень жалел близких по духу коллег, которым было трудно по разным причинам решиться на открытое сопротивление: «Не обязательно, чтобы вертухай зажимал рот, — если ты сам себе зажал рот, все равно не будет хватать воздуха». Не так ли живет сегодня большинство «креативного» класса?

Первая пластинка Галича, выпущенная в 1975 году в Норвегии, называлась «Крик шепотом» — это как раз о состоянии душ и умов рефлексирующей части сограждан, а иногда — об отчаянии. Крик шепотом страшнее крика в полный голос: человек вынужден прилагать еще одно усилие — сдерживать себя.

Александр Галич описал процесс своего полного расставания с иллюзиями в книге 1974 года «Генеральная репетиция» — это и воспоминания 55-летнего человека о своем детстве и юности с запахом снега на Чистых прудах, и описание разгрома его пьесы «Матросская тишина» в 1958 году, на самой заре театра, тогда еще студии, «Современник» (в прогоне участвовали Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Олег Табаков), и сама пьеса, причем совершенно блистательная во всем, включая авторские ремарки. Чего стоит совершенно бабелевское описание слоняющихся пьяных, которые, «запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звездное небо». Или: «Быстро вбегает высокая крупная женщина со страдальческим и вдохно-

венным лицом, растрепанная, с хитрыми молодыми глазами. Это старуха Гуревич». Реплики персонажей — это смесь Фридриха Горенштейна, Василия Гроссмана, Ильфа и Петрова. А уж «Политика — это занятие для англичан и поляков» — предтеча довлатовского «Любовь — это для военнослужащих и спортсменов».

Свое состояние в молодости Александр Аркадьевич безжалостно аттестовал как «трусливую веру», а образцы творчества — как «романтическую муру». Расставание с образом благополучного и заваленного заказами драматурга и сценариста культовых картин от «Верных друзей» (1954) до «Вас вызывает Таймыр» (1970), существовавшего в рамках стратегии двоемыслия, происходило постепенно. В 1968-м, после скандального концерта в новосибирском Академгородке, где он спел для очень большой и очень молодой аудитории в том числе «Памяти Пастернака» и «Ошибку» («Где полегла в сорок третьем пехота... там по пороше гуляет охота»), ему запретили публично выступать. (На последних словах этой песни — «трубят егеря» — символическим образом с оружейным хлопком взорвалась лампа. «Я думал, это в вас стреляли», — сказал бард Юрий Кукин. «А я думал, это первый секретарь обкома застрелился», — отозвался Александр Аркадьевич.)

Терпение советской власти лопнуло в 1971-м — Галича исключили из Союза писателей, а в 1972-м — и из Союза кинематографистов. В 1974-м он вынужден был уехать из страны, описав положение, в которое его поставили власти, фразой из детства, произнесенной мамой одного из друзей маленького Саши: «Моня, или ты сейчас упадешь с дерева и сломаешь себе голову, или ты сейчас слезешь и я набью тебе морду!» И тогда пришло время еще одной социальной сети, еще одного необычного разговора под гитару: «У микрофона Галич» на Радио «Свобода» — сначала из Мюнхена, а потом из Парижа.

Он был безжалостен к власти, и она перестала терпеть его как элемент советского лукавого двоемыслия, частично допустимого. Уже в самой первой песне «Леночка» (1959) про девушку-милиционершу, которую заметил эфиопский принц и женился на ней, все было не антисоветское, но — несоветское. По стилистике —



ну, чистый «Милицанер» Дмитрия Александровича Пригова с элементами Даниила Хармса.

А вот через полтора десятка лет в предотъездном этюде 1973 года под названием «Пейзаж» Галич уже отмечал доминантное состояние советского интеллигента — только и остается делать, что регистрировать глупости и замерять концентрацию подлости.

Тоже ирония, но уже антисоветская — наотмашь. Поэт по-разному строил вступление к этой коротенькой песенке, но всегда у него кто-то из «местных» обитателей Серебряного бора объясняет устройство «говномера»: «Уровень, значит, повышается — гиря понижается... Пока она на двойке-тройке качается — ничего. А как до пятерки-шестерки дойдет — тогда беда... из города золотариков вызывать». На записях слышно, как уже в этом месте публика начинает умирать от хохота. Ну а дальше известное четверостишие, вошедшее во все официальные печатные сборники стихов Галича, — фактически о роли свободной прессы: «Не все напрасно в этом мире, / (Хотя и грош ему цена!), / Покуда существуют гири / И виден уровень говна».

По Галичу — его поэзии, драматургии, радиоэссеистике — можно сверять свои сегодняшние ощущения от происходящего в стране. «Сколько раз мы молчали по-разному, / Но не против, конечно, а за» — это уже перекликается с последним словом Ларисы Богораз на суде в 1968 году — о невозможности просто промолчать «против» вторжения советских войск в Чехословакию, потому что молчание могло быть только «за». «Мы — именно! — вспомним тех, кто поднял руку» — и в самом деле вспомнили, только кого это теперь волнует. Или вот лишь о кажущемся сложным простом устройстве механизма авторитарной власти и приспособления к ней: «Это же так просто — управлять страной: выслушивай мнения вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам».

Незадолго до смерти Александр Аркадьевич записал в парижской студии Радио «Свобода» свою последнюю песню. Предваряло ее поздравление с грядущим Новым 1978 годом и рассуждение о том, что наша Родина богата всеми элементами таблицы Менделеева, и только одного элемента недостает — счастья.

Даже если гнать от себя мысль о пророческом характере песни «За чужую печаль», она все равно прочитывается как прощальная. Здесь уже ничего нет о текущих событиях, и никакой иронии, это подведение итогов жизни человека, которого от преследований и травли неизменно спасал образ «мальчика с дудочкой тростниковой». И единственный раз он не спас Александра Аркадьевича — 15 декабря 1977 года:

Мы проспали беду, промотали чужое наследство.  
Жизнь подходит к концу — и опять начинается детство,  
Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья.  
Продолжается действие без нас, продолжается действие,  
Возвращается боль, потому что ей некуда деться,  
Возвращается вечером ветер на круги своя.

### Шпаликов. Не могу быть рабом

Геннадий Шпаликов — символ очень важного для страны поколения «младших» шестидесятников — младших по отношению к шестидесятникам «старшим». К поколению комбатов, которое, по определению Анатолия Черняева, отчасти заимствованному у Давида Самойлова, пошло в гуманисты, а не в карьеристы.

К недавнему 80-летию юбилею Шпаликова появилась чрезвычайно добросовестная биография, написанная Анатолием Кулагиным. Переизданы книги, точнее, собственно, одна книга — по объему написанного. Буквально как у Юрия Олеши — все творчество «продавца метафор» всякий раз умещается в размер одного толстого тома.

На задорно-розовой обложке нового издания под заголовком «Я шагаю по Москве» (прежнее название «Я жил, как жил») вообще ничего не скажет современному читателю) — черно-белый образ Володи Ермакова, героя самого известного сценария Шпаликова и одного из самых известных фильмов Георгия Данелии. Книга вообще кажется частью пиара бодрой реконструкции Москвы, по которой, правда, иной раз не очень-то можно «шагать».

Однако тот, кто с творчеством Шпаликова не знаком, будет обманут: его ждут импрессионистические сценарии, мятущиеся

герои и гениальные, очень необычные стихи. Кстати, улыбающийся актер Алексей Локтев, запечатленный на обложке, после фильма «Я шагаю...» был не сильно востребован, а больше десяти лет назад погиб в автокатастрофе, сам же Шпаликов покончил с собой в 1974-м. И это еще не конец истории...

Геннадий Шпаликов был *luftmensch* — человек воздуха. Но с тяжким грузом внутри и с ощущением земного тяготения.

Ранняя слава в 27 лет благодаря фильму «Я шагаю по Москве» и песне «Бывает все на свете хорошо», про которую он сам сказал: «Поет и тенор, и шпана, / А мне положены проценты», ничуть не способствовала карьерному продвижению. Более того, на этом фильме, идеальном кинооттиске оттепели, все легкое веселье с обещанием неслыханно прекрасных перспектив и закончилось. И в стране, и в личной биографии — человеческой и творческой — Шпаликова.

Всего через десять лет после триумфа 37-летнего сценариста, писателя и поэта найдут в номере Дома творчества в Переделкино — он совершил самоубийство. Шпаликов, символ поколения, заплутал в эпохе, которая исподволь, почти незаметно успела поменять кожу, причем еще задолго до настоящих заморозков в 1968-м.

И, как говорил Бертольд Брехт о писателе Карле Краусе, «когда эпоха наложила на себя руки, он был этими руками».

Впрочем, шестидесятые для Шпаликова завершились как раз в 1968-м, когда он закончил вместе с Ларисой Шепитько сценарий фильма «Ты и я», который по странному недосмотру киноначальства все-таки вышел на экраны в 1971-м в ограниченном числе копий.

Разумеется, картина эта вовсе не антисоветская — в этих категориях вообще невозможно судить о Шпаликове, который был человеком внесоветским. Она даже в некотором смысле социалистическая. Но только это не социалистический реализм, а социалистический сюрреализм.

До полного распада формы в сохранившихся отрывках последнего незавершенного романа («Без копейки денег. Велики поэты. Так и быть. Не дожил») еще далеко, зато в фильме прокладывает

себе русло поток сознания — причем сознания чужого, на поверку оказавшегося шпаликовским. Больного, раненого, совестливого, на грани вмешательства психиатра. Или нейрохирурга — эту профессию автор подарил своим двум героям.

Единственная режиссерская работа Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» (1966) прошла на грани социалистического сюрреализма. На всю страну сказано, что жизнь не бывает ни долгой, ни счастливой, а любовь вообще не может состояться. И не только герой актера Кирилла Лаврова «терял каждый раз гораздо больше, чем находил» (последние строки сценария), но вся страна вместе с ним. Это уже просто финал всего, финал закрытый и глубоко пессимистический — в отличие от открытого и оптимистического финала «Я шагаю...».

Герои же «Ты и я», превратившиеся из горящих молодых ученых в успешных сорокалетних людей эпохи застоя, в представителей «образованщины», переживают то, что бывает уже после состоявшегося финала. И не могут найти себя ни в попытках новой любви, ни в «смене обстановки». Нет жизни после жизни...

Понятно, почему от сценариста после этого фильма просто шарахались. А сам он уже не вписывался ни в какие литературные и киношные каноны. Драматург Александр Володин как-то встретил Шпаликова в коридоре киностудии: «Он кричал — кричал! — “Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!”». (Далее нецензурно.) Он спивался».

Уже не шагал, а бродил по Москве, читал газеты на стендах — от корки до корки, заходил на почту и писал на почтовых бланках стихи, в которых распад формы, в отличие от прозы, совсем не ощущался.

Но тем они и страшнее — своей абсолютной, космической безысходностью — жестче, чем у кого-либо из современников, даже чем у Александра Галича или Иосифа Бродского:

...Ночью на заборе  
«Правду» я читал:  
Сговор там, не сговор?  
Не понял ни черта.

Ясно, убивают,  
А я в стороне.  
Хорошо, наверно,  
Только на Луне.

Это стихотворение Шпаликова начиналось со слов, пародировавших собственные стихи из «Я шагаю...»: «Я иду по городу...»

Наверное, все-таки Шпаликов покончил даже не с одной, а с двумя эпохами сразу.

Твердая решимость не изменять самому себе в кинопрозе завершилась тем, что он обрек себя на расторжение (в лучшем случае) договоров с киностудиями — это конец шестидесятых как эпохи. А эпоху застоя он похоронил заранее, авансом, заняв у смерти до первого гонорара (в «Ты и я») и своим самоубийством:

Ровесники друга выносят,  
суровость на лицах храня.  
А это — выносят, выносят! —  
ребята выносят меня!

«Ты и я» скорее мог снять Микеланджело Антониони — так глубоко в подкорку советскому человеку, как Шпаликов и Шепитько, еще никто в СССР не позволял себе залезать. Это было советское «Затмение» или «Красная пустыня»: да и шел «Ты и я», как и полузапретные картины классиков-итальянцев все больше в «Кинотеатре повторного фильма» на углу нынешних Никитской улицы и Никитского бульвара.

И это был фильм-несчастье в каком-то более широком толковании. Шпаликов описал в сценарии «лишних людей». А потом, совсем скоро, те, кто воплощал и создавал их кинообразы, — исчезнут. Уйдет из жизни в 37 лет Геннадий Шпаликов, погибнет в 41 год Лариса Шепитько, умрет в 50 Юрий Визбор, покончит с собой в 56 лет — причем пересмотрев перед последним шагом свою лучшую работу в кино — в «Ты и я», — Леонид Дьячков.

Читатель ждет уж рифмы «розы» — в том смысле, что Шпаликов не смог бы соответствовать нашей эпохе. Причем ни в

каком плане: ни в политическом, ни в житейском, ни в профессиональном — ни одну заявку ни на какой фильм шпаликовского типа никакая студия сегодня не приняла бы, не говоря уже о субсидиях Фонда кино и Минкульта на «патриотический» кинематограф.

Дух времени, Zeitgeist, иной: да и Zeit закончилось, а Geist умер. То время было щедрым на таланты, а не на то, что сейчас называется ледяным и нахмуренным словом «профессионалы». Талант и был профессионализмом.

Сейчас «вакансии» совпадений таланта и профессионализма, как сказал бы Борис Пастернак, «опасны, если не пусты».

Все это, наверное, правда. И все-таки речь не о сегодняшней эпохе, которую Шпаликов похоронил заранее, даже и не предугадав ее появление, потому что перед ним была глухая стена застоя, казавшаяся, как и любые стены, вечной. А о том моменте, который поймал человек воздуха в химическом составе баснословной эпохи. И поймал только потому, что и сам был частью воздуха времени — до той поры, пока этот воздух не закончился.

Такое ведь не повторить. Как это в сценарии «Я шагаю по Москве»? «А по самой середине улицы шла девушка. Она шла босиком, размахивая туфлями, подставляла лицо дождю».

Разве бывает так на свете хорошо?

## Тарковский. Разрезанный негатив

Один пошляк недавно горячился: мол, Высоцкий, будь он живой, был бы «с нами». С кем «нами» — понятно. С «Нашими», с Путиным. А вот не думаю — даже если бы идеологически совпадал, не совпал бы стилистически. Это гораздо более глубокое несовпадение, исключаящее принятие художником высокого звания доверенного лица кандидата в президенты. Эта тема гораздо глубже, чем поверхностное «С кем вы, мастера культуры?»

Андрей Арсеньевич Тарковский в послании президенту Италии Пертини 25 января 1983 года писал: «Поверьте мне, я не

“диссидент” в своей стране, и моя политическая репутация в России может даже считаться благонадежной... мои фильмы никогда не были политическими или направленными против Советского Союза, но всегда поэтическими произведениями — было мое желание снимать лишь “свои” картины... а не заказанные руководством советского кинематографа ленты».

Боюсь, Тарковский не был бы «с нами». Представить его доверенным лицом Путина невозможно. Хотя, например, легко представить вернувшимся после всех мытарств на родину.

Ему не давали работать в Советском Союзе, но, скорее всего, он не попал бы в такт и с Западом: «Джанни (друг Антониони) рассказывал сегодня ужасные вещи об Англии, которой он не узнал после двух лет. Духовная деградация. Деньги и суррогаты вместо духовной жизни». И тут же — главный мотив, к которому Тарковский постоянно возвращается, мотив свободы: «Странно живут люди. Будто бы они хозяева положения и не понимают, что им дан шанс — прожить ее так, чтобы воспользоваться возможностью быть свободными» (из «Мартиролога», записных книжек, 21–22 июня 1980; последующие цитаты отсюда же).

Он не был бы с властью. Не был бы с церковью, хотя настоящему верил в Бога и оставался одним из немногих настоящих религиозных художников.

Официозу РПЦ, обеспокоенному квартирным вопросом и прочей суетой сует, хоругвеносцам, которых волнует проблема расы и которым приходят в прерывистые блудливые сны сонмища Pussy Riot, было бы неприятно прочитать такое, христианское в подлинном смысле: «Неужели проблемы, донимающие русскую душу, выйдя за пределы русскости, можно назвать суетными?.. Что такое грех? Действие в пользу унижения человеческого достоинства...» (1 октября 1986).

Но едва ли бы он слился в экстазе и с Болотной площадью. Не по той причине, что не симпатизировал бы ей, — кто это вообще знает? А потому, что более всего ценил свободу как свободу: «Человек вовсе не нуждается в обществе, это общество нуждается в человеке» (23 июня 1977).

Скорее всего, на площади он парадоксальным образом чувствовал бы себя... несвободным.

Иные его размышления по-настоящему вмонтированы в сегодняшний день. Как нравственный ответ столь же пошлым, как и рассуждения о Высоцком, демагогическим формулам о нужде в стабильности: «Какими будут наши дети? От нас многое зависит. Но от них самих тоже. Надо, чтоб в них жило стремление к свободе. Это зависит от нас. Людям, родившимся в рабстве, трудно от него отвыкнуть. С одной стороны, хочется, чтобы следующее поколение обрело хоть какой-нибудь покой, а с другой, покой — опасная вещь» (7 сентября 1970 года).

Захотел бы он обратно — в рай до «геополитической катастрофы»? Он, человек, замученный Агитпропом, Госкино, отделом культуры ЦК, всеми теми, кто не давал ему снимать, не позволял воссоединиться с семьей после отъезда? «Прошел еще один ужасный год. Накануне в магазинах нет ничего. В Рязани масло по карточкам: 300 г на человека в месяц. Жить становится невозможно» (31 декабря 1978). В самом конце жизни квартиру и лечение ему оплатили государственные структуры Франции.

Вот уж кто-кто, а Андрей Тарковский точно не с нами. Он не из нашего времени, с которым не сжился бы — ни здесь, ни там, ни с патриотами, ни с демократами, ни с церковниками, ни с проповедниками политической свободы. Мы слишком нетерпеливы и быстры нынче. Его длинные планы мы не досматриваем до конца. В пейзажах Готланда не видим философского смысла — только голый и плоский, как представления древних о Земле, пейзаж северного острова.

Это не о нем — «спасибо, что живой». Даже «Ностальгии» он предпочел «Жертвоприношение». Причем в совершенно конкретном измерении: принести жертву, согласно его последнему фильму, стоило ради того, чтобы спасти Землю от ядерной катастрофы.

Ее Тарковский боялся и перед самым концом: «Чернобыль испугал всех только потому, что полугласность ответила и дала оценить размеры катастрофы. А катастрофы с разрешения правительства, продолжающиеся уже 50 лет, остаются в тени и как бы не существуют... Война уже идет» (октябрь 1986).



Вечные вопросы, которыми он задавался, — не про нас. Мы способны только задаваться другими, мирскими, гламурными вопросами: а с кем бы он был сейчас? Нарезаем фрагменты кино в пользу власти. Такое кино может называться только «Анатомия протеста». Какая уж там «Ностальгия», какое «Жертвоприношение»? Какое чувство собственного достоинства?

Последняя запись в дневнике 15 декабря 1986: «Негатив, почему-то разрезанный во многих случайных местах».

## Кормер.

### Двойное сознание российского интеллигента

Философ Владимир Кантор рассказывал, как его друг Владимир Кормер, демонический красавец, гуляка и автор одного из самых значительных русских романов XX века «Наследство», однажды в глухие застойные времена попал в специфическую, но одновременно и типичную для него историю. Кормер позаимствовал у Кантора сборник рассказов Евгения Замятина с вызывающим знаком эмигрантского издательства на обложке. А затем, будучи нетрезвым, предсказуемым образом оказался в комнате милиции в метро. Лейтенант ознакомился с книгой, отчего Кормер протрезвел: последствия могли быть тяжелейшими. Но милиционер отпустил позднего клиента, деликатно проводив по эскалатору до вагона со словами: «Как же вы такие книги читаете — и так пьете?»

Кормер и сам участвовал в тамиздате. В конце 1968-го, после вторжения в Чехословакию, в неформальном кружке, состоявшем из Юрия Сенокосова, Евгения Барабанова, Михаила Меерсона, Владимира Кормера и о. Александра Меня, созрела идея подготовки серии статей в связи с 60-летием сборника «Вехи». Кормеровский толчок к рефлексии по поводу слоя советского образованного класса вырос из этой идеи.

Три псевдонимированные статьи членов этого кружка, включая текст Кормера «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» (под псевдонимом О. Алтаев), были опубликованы в № 97 «Вестника РСХД» за 1970 год, издававшегося в Париже раз в три

месяца под редакцией Никиты Струве. Они были собраны под единой шапкой *Metanoia* («Перемена ума») и переданы на Запад Барабановым, фактически соредактором «Вестника».

Помимо всего прочего это был антинационалистический манифест. Например, в статье В. Горского (под псевдонимом скрывался искусствовед Евгений Барабанов; третьим автором под псевдонимом М. Челнов выступил Михаил Меерсон, ныне православный священник в США) «Русский мессианизм и новое национальное сознание» говорилось: «Преодоление национал-мессианистского соблазна — первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия». Спустя почти полвека очевидно, что эксплуатация этого соблазна нынешней «пост-индустриальной» властью позволяет главному идеологу российского изоляционизма собирать почти 90% активной или просто конформистской поддержки.

Разумеется, тезисы *Metanoia* были резко оспорены националистами. Досталось авторам и от Александра Солженицына, посвятившего отчаянной полемике с *Metanoia* часть статьи 1973 года «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», вошедшей в сборник 1974 года «Из-под глыб». В нем же опубликован текст «Раскол Церкви и мира» одного из авторов и идеологов *Metanoia*, Барабанова, причем без псевдонима. Узнав, что этот участник сборника и скрывался под псевдонимом В. Горский, Солженицын фактически прекратил с ним отношения.

А в «Образованщине» (из того же сборника) Солженицын полемизировал именно с автором, скрывшимся под псевдонимом О. Алтаев. Он же отмечал «блестяще отгранные» Кормером шесть соблазнов русской интеллигенции. Которые при всей разнице нынешней эпохи и времени полувековой давности, судя по всему, находятся во вполне рабочем состоянии.

Солженицын подверг критике измельчание советской интеллигенции, ее стремление к приспособленчеству и бытовым благам. Этот слой, живущий «по лжи» ради квартиры, машины и семьи, он и назвал «образованщиной». Солженицын мерил его этическими

нормами, а надо было — социально-экономическими. И потому он не распознал в «образованщине» народившийся в результате урбанизации советский средний класс со стандартными для «мидлов» социальными запросами, капиллярно описанными Юрием Трифоновым в его «Московских повестях» примерно в то же самое время. Даже моральный выбор этой страты возник не из-за политических метаний, как у диссидентствующих героев Кормера в «Наследстве», а на основе бытовых сюжетов, как у Трифонова в «Обмене» или «Старике», где этические дилеммы связаны, вообще говоря, с недвижимостью.

Кормер безжалостен в своем анализе «бытовых» установок советской интеллигенции, но в то же время предостерегает от иронии по этому поводу, напоминая о том, какие ужасы пережила эта социальная страта в годы советской власти: «И если он (интеллигент. — *А.К.*) не ощущает сегодня больше своей вины перед народом, то ведь, и слава Богу, они квиты — на пятьдесят втором году советской власти (статья писалась в 1969-м. — *А.К.*) народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией». Обиходных понятий «ватники» и «анчоусы» тогда не существовало, но сегодняшние споры о разделенном на большинство и меньшинство народе лишь отголоски того, что происходило с социальной структурой российского общества и сто, и пятьдесят лет тому назад.

Двойное сознание советской интеллигенции, по Кормеру, явилось прямым следствием ее положения: она служит власти и приспособляется к ней, потому что стремится к благополучию, и в то же время ненавидит власть и мечтает о ее крушении. Эта раздвоенность образованного класса вернулась полвека спустя в путинской России. В том числе и в виде дискуссий о возможности-невозможности сотрудничества с властью: «И, кроме того, “ведь если не они, то на их место — какие-то другие, менее интеллигентные, менее порядочные”! Партийная книжка жжет интеллигенту грудь, но он не знает, как выбраться из этого порочного круга». Интеллигент испытывает и просветительские иллюзии: «Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть, что им только этого и не хватает».

К просветительской иллюзии близко примыкает один из шести препарируемых Кормером соблазнов интеллигенции — оттепельный. Как это и было во времена робкой модернизации по Дмитрию Медведеву, а иной раз бывает и сейчас, когда вдруг Владимир Путин посылает псевдолиберальные квазисигналы, перемен интеллигент ждет «с нетерпением и, затаив дыхание, ревностно высматривает все, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены».

Рядом — соблазн революционный, более жесткий, чем оттепельный: интеллигенция, пишет Кормер, «неравнодушна к словам “крушение”, “распад”, “скоро начнется” и т. д.».

Соблазн технократический известен нам не только по временам «гаджетной модернизации» по Медведеву, когда казалось, что если каждого гражданина России вооружить айпадом, то страна тут же станет европейской, но и в принципе по длинной эпохе Путина, которого иной раз принято представлять публике как «русского немца», глубоко рационального политика. Слова Кормера о технократизации власти, близкой, например, Герману Грефу, как будто написаны не 50 лет назад, а сегодня: «Интеллигенция (к ней Кормер относит и государственную бюрократию. — *А.К.*) не желает видеть только того, что Зло не обязательно приходит в грязных лохмотьях анархии. Оно может явиться и в сверкающем обличье хорошо организованного фашистского рейха. Оно не падет само по себе от введения упорядоченности в работе гигантского бюрократического аппарата».

Оставшиеся соблазны — военный, который в иных ситуациях приходит как соблазн квасного патриотизма (смыкающийся «с искушениями национал-социализма и русского империализма»); соблазн социалистический, который в приложении к сегодняшним обстоятельствам оправдывает отступление от нормального развития как необходимый и неизбежный этап; соблазн сменовеховский, согласно которому власть, насытившись террором разной степени интенсивности, переродится в нечто вполне приемлемое и более гуманистическое сама собой.

Удивительно, но Кормер в самое глухое советское время, когда после вторжения в Чехословакию наступил «вельветовый стали-

низм», не просто говорит о соблазнах, но, по сути, о необходимости их преодоления. Казалось бы, что могла сделать интеллигенция в то время? А писатель толкует о ее ответственности за происходящее. О том, что она «явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира». В контексте жесткого социологизированного кормеровского анализа это не пафосная метафора, а очень рациональная констатация: интеллигенция (или, если угодно, элиты) несет свою долю ответственности за то, что, генерируя новые соблазны, которые на поверку оказываются лишь новой версией старых, они делят пребывание страны в анабиозе, по Кормеру, «нового русского мессианизма».

### Мамардашвили. Опыт свободного мышления

Тбилиси, квартал Ваке, рядом университет. Дом сталинской архитектуры, но одушевленной югом. Фасад очень красивый, обращенная во двор сторона дома выглядит запущенной. Дверь с кнопками, над одной из которых надпись «Иза» по-грузински: Иза Константиновна — сестра философа, единственный жилец квартиры. Подъезд старый и обшарпанный, как и многие подъезды в городе.

#### *Сестра и любовь*

Распахнутое во двор окно неотопляемой комнаты, куда из-за этого невозможно зайти зимой. Эффект недавнего присутствия: не то чтобы философ вот так взял только что и вышел. Скорее просто уехал. Рисунки Эрнста Неизвестного на стене, портрет Канта. Книги, которые как будто раскрывались совсем недавно и с ними хозяин комнаты работал — подчеркнутые строки и на полях пометки. Антонен Арто, Жорж Пуле — прямые отсылки к статьям и лекциям. Французы, итальянцы, Большой итальянский словарь.

В проходной комнате, где спала покойная мама, — старые пластинки, в том числе те, которые привозил Мераб. Проигрывателя нет. «Я читаю пластинки», — смеется Иза. Человек русско-грузин-

ской аристократической культуры, она выглядит суховатой и строгой, а на самом деле теплая, остроумная и добрая. Иза преподает русский двум грузинским девушкам, которые любят русскую литературу, и они общаются на равных. Думаю, именно поэтому они к Изе и ходят. И еще их совершенно определенно привлекает дом, в котором живет дух философа.

Любовь сестры к нему была молчаливой и внимательной, ничего не требующей взамен. С ней Мераб обсуждал возможный отъезд из Грузии. Их отношения за эти годы стали настолько близкими — Иза растила в 1970-е его дочь, а в 1980-е заботилась о том, чтобы он мог спокойно, в комфортном одиночестве, заниматься философией, — что естественным оказался вопрос: «А ты?» В смысле — уедешь ли ты за братом из Тбилиси, где провела всю жизнь, работая школьным учителем.

### *Против социальной алхимии*

Мераб Мамардашвили считал, что в философии нет плагиата — просто потому, что разные люди могут иногда мыслить одинаково. Наверное, все-таки в этом была доля снисходительно-веселого лукавства. Ведь попробуй плагиировать Сократа. Попробуй плагиировать Мераба — у него не было философской системы, которую можно уместить в параграфе учебника, и свои мысли он чаще всего излагал устно. И попробуй вставь его мысль в диссертацию депутата Госдумы РФ! Мамардашвили — единственный советский публичный интеллектуал мирового уровня. Он и жил-то в контексте не русской или советской, а именно мировой философии — в основном во французской, итальянской, английской языковой среде, потому что говорил и читал на этих языках.

Для советской интеллигенции он был своего рода поп-фигурой. Вероятно, из-за своего «сократизма», устной традиции передачи философского знания: пленки с его лекциями ходили так же, как записи песен Окуджавы, Галича, Высоцкого. Их творчество было способом критического осмысления действительности, а лекции Мамардашвили оказывались такой же попыткой публично-

го мышления, только в другой форме. Что само по себе было фрондой в ситуации доминирования негнушейся государственной идеологии.

Хотя инвективы в адрес господствующей идеологии Мамардашвили считал своего рода оксюмороном. Функция идеологии — «клеить», держать и не столько сохранять, сколько охранять сложившийся социальный порядок. Не принимая этого порядка, оставаясь свободным человеком, Мераб Мамардашвили в то же время относился к нему спокойно-аналитически, попыхивая трубкой и иронически глядя сквозь толстые стекла очков.

Заметим попутно, что «общественно-политическую» мысль, в том числе русскую и советскую, философ оценивал как социально-утопическую, называл ее социальной алхимией, которая не в состоянии адекватно описать действительность или извлечь уроки из истории, потому что все тезисы и термины ее предустановлены, заранее доктринально сформулированы.

В записных книжках Мамардашвили есть важное замечание: «Всякая идеология доходит в своем развитии до такой точки, где ее эффективность состоит не в действии того, что она говорит, а в том, что она не дает сказать». Особенно если идеологии и сказать-то уже нечего.

### *Без «отличительного колпака»*

В середине 1980-х Мамардашвили ушел в подробный философский разбор прозы Марселя Пруста. Казалось бы, где Пруст, Декарт, Кант, а где советская власть? Но вот за эту самую способность мыслить — не антисоветски, а просто несоветски — Мераб Мамардашвили и был изгнан со всех своих работ в Москве и провел последние десять лет жизни, с 1980-го по 1990-й, в Тбилиси, в доме на проспекте Чавчавадзе, в комнате, выходящей огромным окном во двор. Окном, из которого по сию пору льется, как в стихотворении Арсения Тарковского, «вечерний, сизокрылый, благословенный свет», узнаваемый даже на фотографиях философа.

И в то же время размышление о Прусте стало возможным потому, что советская власть, озабоченная подавлением прямого политического несогласия, упустила другое: возможность глубины. Можно было изучать Канта, Декарта, античную философию. Но и думать по поводу Канта, Декарта, античной философии. Что само по себе точило изнутри политический режим: когда начинаешь думать глубоко, видеть второй, третий слой — это вдруг становится опасным для основ системы.

Мераб Константинович называл себя метафизиком, как бы говоря: занимаюсь самыми глубокими вещами, не ищите во мне поверхностного и политического. Он был одиночкой, индивидуалистом, отчасти поэтому не мог стать диссидентом — принципиально не принимал подполья, считал, что культура может быть только открытой. «Уважение законов и отсутствие желания обязательно носить какой-либо отличительный колпак и ходить на манифестации протеста всегда давало и даст, представьте, возможность свободно мыслить», — почти запальчиво отвечал он на вопросы читателей журнала «Юность» в 1988 году.

Он и здесь шел против течения, придерживаясь почти набоковской позиции неучастия в клубах и кружках: «Не участвуй в этом ни “за” ни “против” — само рассосется, рассыплется. Делать же нужно свое дело, а для этого следует признать право на индивидуальные формы философствования».

### *Взаимная индукция мысли*

Мамардашвили — из послевоенного поколения выпускников философского факультета МГУ, с которых в СССР началась собственно философия, в отличие от советской философии как части идеологии и агитпропа. Ну и отпочковавшаяся от нее социология: Борис Грушин и Юрий Левада заложили фундамент и основали традицию.

Мамардашвили неоднократно подчеркивал важность 1950-х, когда на философском факультете МГУ появился, по его словам, «некий духовный элемент». Идеино Мерабу не был, например, близок гегельянец и марксист Эвальд Ильенков. Но с ним у



Мамардашвили возникала, по его определению, «взаимная индукция мысли».

Комфортную для мысли среду создавали философы круга Института философии АН СССР и журнала «Вопросы философии» при главном редакторе Иване Фролове — именно в этой команде замом главного работал Мамардашвили, а заведующим отделом зарубежной философии был Владимир Кормер.

Статус полуофициального гуру стал едва ли не общепризнанным в годы перестройки. Но и в перестроечный стиль мышления Мамардашвили не очень попадал. Когда все вокруг сходили с ума от обрушившейся свободы, кидались из крайности в крайность, превращаясь то в поверхностных демократов, то в неопитов-охранителей (трагическая история, произошедшая с Александром Зиновьевым), казалось, единственным трезвым человеком оставался Мераб.

И не просто трезвым: он был не русским, не грузином, он был и оставался гражданином мира, как и надлежало философу европейской традиции и мирового масштаба. Он и для тогдашней Грузии оставался чужим, да отчасти остается и сегодня. Антифашизм и антисталинизм Мамардашвили сочетались с антинационализмом. Его слова об истине, которая выше нации, и о том, что, если народ пойдет за Звиадом Гамсахурдиа, он пойдет против народа, — стали классикой. Общение с нацией обернулось настоящей драмой. И стоило ему конфликта со звиадистами, нервов и расстроенного здоровья.

### *Усилие*

Одно из главных понятий философии Мамардашвили — усилие. Для философа человек — «это прежде всего постоянное усилие стать человеком», «человек не существует — он становится». Культура — «это усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни». То же — и история. И все это налагает на человека ответственность — не стать варваром. Для того чтобы не стать варваром, тоже надо прилагать усилия: «Человек только тогда фигурирует как элемент порядка, когда он

сам находится в состоянии максимального напряжения всех своих сил».

Сознание меняется только там, «где была проделана работа». Ничего просто так, само собой, не возникает. Например, «случилось» в европейской истории опыт представительной демократии, что могло закончиться ничем. Но была проделана работа. В России же «не случилось так, чтобы возникла артикулированная форма выражения, обсуждения и кристаллизации общественного гражданского мнения». Однажды в 1981 году философ опоздал на лекцию и сказал, что во сне к нему приходил Декарт, а когда он проснулся, горлом пошла кровь. Это была шутка. Почти буквальное воспроизведение рассказа Эммануила Сведенборга о том, как ему приснился Декарт.

Впрочем, сам Декарт видел пророческие сны.

25 ноября 1990 года друзья Мераба Мамардашвили Лена Немировская и Юрий Сенокосов, в квартире которых он всегда останавливался в Москве, проводили его в аэропорт — философ с тяжелым сердцем улетал в беспокойный Тбилиси. В накопителе Внукова он умер.

Мамардашвили вполне мог бы приложить к своей жизни и своей смерти собственные же слова из «Картезианских размышлений»: «Сократа убили, чтобы избавиться от него, как от оспы, убили неприятием, а Декарта, который скрывался более умело, чем Сократ, убили — любовью, как бы распяли на кресте его же образа, его ожиданий».

## Трифонов — Кормер.

### Двойное зеркало (анти)советского человека

Прежде чем понять эпоху, ее надо описать. И почти единственный оставшийся ключ к пониманию людей застоя — проза Юрия Трифонова.

Жизнеспособность советского общества и тех его элементов, которые почти нетронутыми перекочевали в сегодняшний день, кажется загадочной. Трифонов показал, что никакой загадки нет: просто люди живут, как могут, в заданных обстоятельствах, как

если бы постоянно решали математическую задачу с условиями, сформулированными не ими. Так большинство жило тогда, так живет и сейчас. Что, собственно, и является простым объяснением тотального и банального конформизма.

Эпохе позднего СССР повезло. Два выдающихся русских романа XX века исчерпывающе описали эту эру, во всяком случае ее городскую культуру. Во «Времени и месте» Юрия Трифонова предьявлены для грядущих поколений люди мейнстрима, а в «Наследстве» Владимира Кормера — антисоветская среда.

И Трифонов, и Кормер — из поколения, навеки обожженного насилием, страхом, несправедливостью. У обоих были репрессированы отцы. Оба рано умерли.

Они не вышли из шинели Сталина, а ушли из нее. Изживание государственного террора стало конституирующим свойством их поколения, точнее — даже поколений, потому что Кормер моложе на 14 лет. И предметом рефлексии — в прозе.

Трифонов стал бытописателем советского среднего класса, которого вообще, казалось бы, не трогал политический выбор. Зато из быта выростали моральные дилеммы, в основном возникшие на почве обладания недвижимостью (повести «Обмен» и «Старик»): к 1960—1970-м уже было что передавать по наследству и чем владеть. Этот класс был зло прозван Александром Солженицыным «образованщиной». Он разрастался, оставаясь социальной основой режима, внутри которого все было «для блага человека, все во имя человека», и в то же время в нем зрела внутренняя готовность к переменам. Которых, в свою очередь, страстно желали герои Кормера — запутавшиеся не меньше трифоновских персонажей во взаимных склоках и моральных вызовах бунтари, метавшиеся в поисках правды почти в буквальном смысле между будуаром и молельной.

«Время и место» — энциклопедия советской жизни. «Наследство» — тоже энциклопедия, но полный свод жизни антисоветской.

У каждой из этих социальных страт свои координаты успеха, свое демонстративное потребление: герои Трифонова рвутся встречать Новый год в ресторане ВТО, герои Кормера стремятся

быть ближе к отцу Владимиру, в котором легко угадывается отец Александр Мень.

А советский и антисоветский секс, советская и антисоветская любовь, советские и антисоветские предательства и распад, оказываются, ничем не отличались друг от друга.

Необязательно было быть бунтарем, чтобы сосуд за сосудом, артерию за артерией описать кровеносную систему советского общества, его корни и крону. И ни Трифонов, ни Кормер никому никаких уроков не преподавали, выводов не делали — это была чистая литература. Чтобы обличить сталинизм, достаточно было показать мальчишескую боль, и больше ничего, но именно так, как это сделал Трифонов во «Времени и месте»: «Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: “Ты вернешься к восемнадцатому?”... Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой... Надо ли все это?.. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос, состарился и умер. Поэтому никому ничего не надо».

Надо ли говорить, что глагол «умер» цензура вымарала из «Времени и места»? Свет увидела фраза «вырос и давно состарился».

И Трифонов, и Кормер показали городское общество, общество демографического перехода — из деревни в город. И город у них — подлинный. Чего, как теперь вдруг стало понятно, нельзя было сказать о деревенской прозе, которую боготворила та же самая «образованщина», видевшая в ней правду, хотя это была когда правда, когда полуправда, а когда и миф.

Есть архив, спрессованное время. А есть оживающая память о времени и месте. Археология советского времени — даже и копать глубоко не надо, можно просто снять книгу с полки. Хотите в 1970-й? Пожалуйста: «В Москве люди ходили в пальто. Шофер такси сказал, что холода и дожди весь месяц, сады померзли, на рынке молодая картошка полтора рубля килограмм».

В 1971-й? Несколько штрихов, стоящих томов исследований по демографии и экономической истории: «А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями... и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу — гибель, с каждым годом все гуще. Ляля удивляется: “И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повыврастали?”»

У нашей эпохи нет своих Трифонова и Кормера. Это не описанное время. Возможно, оно неопишное.

Но есть ощущение, что и время само пыжится и что-то из себя изображает, и сама литература об этом времени — или мельчит, мигая Twitter, или снобистски брюзжит, усложняя простое и умножая пустые сущности.

Хотя надо всего-то поставить перед постсоветским человеком зеркало. Появятся вкус, запах, тактильные и визуальные впечатления. Такие, например: «Дождь лил стеной. Пахло озоном. Две девочки, накрывшись прозрачной клеенкой, бежали по асфальту босиком».

Где сейчас эти девочки из 1978-го? Бегут ли по асфальту босиком?

Даже о небывалой московской жаре лета 1972 года мы можем узнать исключительно у Трифонова, а кто нам оставил стилистически безупречные свидетельства о дикой жаре и дымном смоге в Москве 2010-го? А может, и не надо нового отчета, достаточно старого: «И однажды в конце августа как будто лопнула струна — жара прекратилась... Те, что остались живы, испытали необычайную бодрость и как бы наслаждение жизнью... На третий день все забыли о недавних мучениях — чему помог зарядивший с утра мелкий, сеявший осеннюю скуку дождь».

Мнится, и сегодняшнего постсоциалистического, постмодернистского, постсоветского постчеловека можно описать романами и повестями Трифонова, его словами, его моральным — да хоть политическим, потому что он тоже моральный — выбором, который он ставил перед своими героями, и мрачно, сквозь толстое стекло очков, наблюдал за тем, как они сражаются с самими собой и всякий раз терпят поражение, но продолжают жить.

Может быть, и добавлять ничего не надо: как наше время ни кичится своей уникальностью, люди не меняются, даже обстоятельства, дилеммы, развилки те же самые. Возмущался же текстами Юрия Валентиновича редактор из серьезного журнала, выведенный им в рассказе «Вечные темы» из цикла «Опрокинутый дом»: «Все какие-то вечные темы!»

В свои 55 лет, незадолго до смерти, Трифонов закончит «Время и место» словами: «...мы обнимаемся, идем на бульвар, где-то садимся, Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения».

Простая правда о жизни. Как и последняя фраза в неоконченной рукописи последнего, изданного посмертно в 1987 году романа «Исчезновение»: «Но прошло много лет...»

Прошло много лет, а человеческая природа не меняется, обстоятельства диктуют поведение человека, а потом человек выстраивает вокруг других людей обстоятельства.

Неясны мотивы тех, кто стали хозяевами жизни в 1930-х? Юрий Трифонов все объяснил в своем том же итоговом «Исчезновении»: «Радостное чувство власти, но не грубой, полицейской, а истинной, тайной, имеющей близость к року и божественному промыслу, — тончайшее наслаждение, ради которого единственно стоило бы жить, ибо все прочие оргазмы жизни так или иначе доступны миллионам, как общий городской пляж в Ялте...»

И банальность зла, воплощенная в заурядном, оттирающем скипидаром масляную краску с рук рядовом энкавэдэшнике, который после произведенных обыска и ареста вдруг начинает по-свойски рассказывать: «Я, видишь, с дежурства прямо к теще в Павшино. Жинка у ней сейчас... Всю неделю не виделись. Какой неделю! Больше...».

И тут же рядом — гибель богов. Собственно, вся история ВКП(б) — КПСС — это история распада кланов, сначала обустроившихся в коричневатом рембрандтовском сумраке квартир в Доме на набережной окнами на дробящееся отражение Кремля в Москве-реке, а затем исчезнувших и пожравших друг друга с механической жестокостью термитов.

И никто никогда не замечает распада социальной ткани, который происходит под носом: «На юге в девятнадцатом кипела какая-то нелепая, веселая жизнь, туда съехалось много интересных людей, артисты, писатели, выходил журнальчик «Донская волна». Рестораны в Новочеркасске были полны. Все уже трещало и рушилось, но люди не понимали...»

Я перечитываю Трифонова насквозь, кроме, быть может, «Студентов», «Отблеска костра» (и ни разу не дочитал до конца книгу творческого кризиса — «Утоление жажды») и статей, раз в пять-шесть лет. Для того чтобы сверить часы — освежить понимание людей не столько советской, сколько постсоветской эпохи.

Трифонову было бы сейчас далеко за 90. Много, потому что почти век — это впечатляет. И до странного мало, потому что он описал людей, живших десятки лет тому назад. А оказалось, что предъявил миру нас сегодняшних. И все по той причине, что, как он написал за четыре месяца до смерти, в свой ошеломляюще продуктивный период, когда были закончены «Время и место», «Опрокинутый дом» и летело к концу «Исчезновение», нить одна: «она состоит из любви, смерти, надежд, разочарований, отчаяния и счастья, кратко, как порыв ветра».

## Трифонов-2. Время места

Юрий Трифонов был в равной степени официально признанным писателем (достаточно вспомнить раннее начало — Сталинская премия!) и писателем андерграунда («Исчезновение», его последний роман, имел мало шансов на публикацию при жизни автора). В самом начале 1980-х я прочел в университете передаваемые из рук в руки студентами с «диссидентскими» наклонностями перепечатанные на машинке и склеенные самодельным переплетом «московские повести». А всего пару лет спустя начал выходить фундаментальный, болотных тонов, в твердом «худлитовском» переплете четырехтомник Трифонова с предисловием самого официального из самых официальных, *capo di tutti capi*, Феликса Кузнецова, согласно которому автор тех самых

«московских повестей» описывал не что-нибудь, а социалистическое строительство.

Впрочем, до известной степени и это было правдой. Юрий Трифонов был ранен на всю жизнь детской психологической травмой: арест отца, видного революционера и крупного чиновника, жильца Дома на набережной и дачника Серебряного бора, произошел, когда будущему писателю еще не сравнялось 12 лет. Раздвоенность словно бы преследовала Трифонова в течение всей его биографии. Великолепие иофановской темно-серой громады напротив Кремля и жизнь изгоя, юного родственника врага народа. Многочисленные иностранные переводы, поездки за границу и неопределенность статуса в официальной советской литературе. Дача по соседству с Твардовским, в одном поселке с Нагибиным, Баклановым, Симоновым, Светловым (поселок на Пахре и по сию пору называется «Советский писатель», хотя цена сотки там сегодня скорее олигархическая, чем писательская), и, в сущности, как признавалась в мемуарах его вдова, несчастливая тяжелая жизнь. Неослабевающий интерес к историко-революционной теме и в то же время погруженность в психологию современного городского обывателя. Иногда разочаровывающая публицистика и головокружительной глубины проза.

До «московских повестей» у Юрия Трифонова был ранний вертикальный взлет, потом невнятица, естественная после первого слишком оглушительного успеха, закончившаяся тем самым описанием социалистического строительства — «Утолением жажды», спортивными статьями, рассказами, сотрудничеством с кожевниковским «Знаменем» и историко-революционными книгами, в частности, добротным и естественным для 40-летнего писателя жизнеописанием отца-революционера («Отблеск костра»). Гениальный Трифонов взорвался в «Новом мире» — сначала рассказами, которые поощрительно-снисходительно опубликовал Твардовский, не разглядев в них зародыш «серийной» прозы, а затем, в 1969 году, в самой затертой читателями книжке журнала, «Обменом».

Затертой, потому что поколение в принципе успешной в экономическом смысле концовки 1960-х годов, генерация советских



людей, начавшая заселять новые спальные московские кварталы, формировать достаточно благополучный образ и стиль жизни в эпоху нефtedолларов, узнала в героях повести самих себя.

Главный Трифонов начался с периода застоя, открыл эпоху, описав ее базовую социальную среду — городскую «образованщину», и закрыл эпоху, закончив «Время и место», прекратив творческое и физическое существование. Последние слова романа: «Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения».

Вся проза Трифонова была самым точным отчетом о городской жизни застойного времени, в шокирующих деталях совпадающим с сегодняшними реалиями. Бытовыми реалиями.

Слово «быт» преследовало Трифонова с тех пор, как один за другим стали появляться его рассказы конца 1960-х. А он прекрасно понимал достоинства своей прозы — в беседе с критиком Анатолием Бочаровым для журнала «Вопросы литературы» еще в 1974 году, до «Другой жизни», «Дома на набережной», «Старика», «Времени и места», говорил: «Читателю должно быть не по себе, он должен поеживаться и думать: “Черт возьми, это как будто про меня...”». Вот полстраны и поеживалось, переживая нравственный выбор обмена и алчную борьбу за дачную сторожку, борьбу, которая оказалась бессмысленной, потому что на месте дачного поселка, площадке амбициозных ристалищ, внешняя непреодолимая сила собралась строить пансионат.

Так вот все это упорно называлось словом «быт». Что, с одной стороны, было охранной грамотой Трифонова, с другой — его раздражало. В интервью Льву Аннинскому он говорил: «Я пишу о смерти («Обмен») — мне говорят, что я пишу о быте; я пишу о любви («Долгое прощание») — говорят, что тоже о быте; я пишу о распаде семьи («Предварительные итоги») — опять слышу про быт...» Бытом оказывалось все то, что не являлось идеологически насыщенной или, скажем, производственной прозой. Вроде и не диссидентство никакое, но подлинно советской литературой, в «секретарском» смысле слова, это все не назывешь. Любовь, ненависть, предательство, распад под псевдонимом «быт».

И в персонажах Трифонова не было ничего специально изготовленного: «Иные читатели, может быть, опять поспешно назовут их мешанами. А они горожане, бог ты мой, горожане, и всё тут!» Вот здесь, в этом самооправдании, — корни невероятной долговечности трифоновской прозы. Мы ведь тоже горожане, хотя и живем полвека спустя...

Во «Времени и месте» гораздо ближе, чем в «Доме на набережной», Трифонов подошел к другой главной теме — сталинизму. Подошел настолько близко, что с публикацией романа возникли проблемы. Для него закончилась эпоха «московских повестей» и начинался новый творческий период — возвращение к монотеме, к прошлому, к аресту отца, определившему всю творческую, да и не только творческую жизнь Юрия Трифонова. Еще ближе к самому откровенному и сокровенному он подступил в романе «Исчезновение».

Последняя фраза рукописи, работу над которой прервала смерть («Исчезновение» не включили в четырехтомник 1985—1987 годов, хотя на дворе уже была перестройка, а в 1985-м, под соусом 60-летия автора, опубликовали невинный фрагмент в «Литературке»), была такой, словно она специально предназначалась для величественной кончины: «Но прошло много лет...»

Прошло много лет. И Юрий Трифонов остается главным советским послевоенным писателем и сохраняет статус автора актуального, глубже других проникающего в сознание современного человека.

Юрий Валентинович Трифонов нашел свое место в сегодняшнем времени. А для особых ценителей остался его ритм-и-блюз: «Спустя несколько минут он проезжал мостом через реку, смотрел на приземистый, бесформенно длинный дом на набережной, горящий тысячью окон, находил по привычке окно старой квартиры, где промелькнула счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна перемена в его жизни?...»

## 5. Как наше слово отозвалось. Послесловие

*Привыкшие к молчанию недостойны свободы.*

Давид Самойлов

Общественное сознание, прошедшее через фильтры горбачевской перестройки и ельцинских реформ, искало покоя и твердой руки, на которую можно было бы опереться в тумане демократии и рынка, и понимающих глаз, которым можно рассказать все, что наболело за эти годы. За десятилетие «порядка» и «покоя» пришлось заплатить полным отчуждением от политики: сами не заметили, как обнаружили себя словно бы отброшенными во времени назад. И процесс пробуждения гражданского сознания начался заново. Разумеется, не с нуля, раз у гражданского общества столь славные традиции. Но с совершенно чистого листа, без выученных уроков — новым поколениям придется еще раз пройти тот же путь, который уже проделали их предшественники. Они могли бы поделиться компасом, но дорогу предстоит осиливать самим.

### (По)этика протеста

Поле битвы оказалось внутри человеческого сознания.

И ОНИ ее в долгосрочной перспективе проиграли, готовясь ко вчерашней войне вчерашними средствами, по привычке облачившись в общевойсковой защитный комплект и осуществляя финансовую артподготовку такими денежными бомбами, какие и не снились Госдепу США с его печеньками.

Из людей, в сознании которых к концу 2011 года произошла революция, можно было бы, как сказал по другому поводу поэт, «составить город». Или как минимум большую арену Лужников.

## *Революция обратной перемотки*

...Первым знакомым лицом, которое я увидел на Болотной площади в декабре 2011 года, оказалась физиономия соседа по лестничной клетке. Сосед как сосед, самый обычный московский обыватель, ответственный квартиросъемщик, сорокалетний мужчина, глава семьи, у которого едва ли имелись четко сформулированные политические взгляды. Теперь у него обнаружились не только взгляды, но и ценности, защищать которые он пришел на Болотную.

Эти люди, которые никогда и не думали выходить на площадь в «галичевском» смысле, даже несмотря на то, что за год-полтора протест сильно трансформировался по форме и содержанию, отныне составят ядро, костяк, мейнстрим того общества, которое станет формироваться все ближайшее десятилетие. Несмотря на все социальные тромбы — рукотворные и естественного происхождения. Несмотря на то что после Болотной возникло ощущение «слитого» протеста. Он существует, он похож на подземный пожар, который может прорваться в совершенно неожиданный момент и в непредсказуемых обстоятельствах.

В 1949–1951 годах на территории Западной Германии, Австрии и США американскими исследователями был осуществлен так называемый гарвардский проект — опрос и глубокие интервью перемещенных лиц и эмигрантов из СССР. В большинстве своем они считали власть в СССР легитимной. Но главное, как отмечал отечественный социолог Борис Фирсов, эти люди были склонны опираться «скорее на тактику улучшающих систему действий (ameliorative actions), чем на стратегию реальных перемен».

Таким оставался советский человек вне зависимости от места проживания до середины 1980-х. Потом он снова стал таким к середине 1990-х. К началу десятых годов теперь ему опять понадобились свобода и перемены. А затем наступила пауза: протест ничего не изменил, участие в нем стало опасным, а присоединение Крыма многие восприняли как возможность наконец уже с облегчением поддержать Путина — сколько можно выступать против,

иногда хочется хотя бы в чем-нибудь быть «за». Тут еще появился Собянин, чья урбанистическая эстетика примирила городской средний класс с властью.

И тем не менее Болотная стала важным этапом в пробуждении общественного сознания. Ее можно было назвать революцией, но только «догоняющей» или «революцией обратной перемотки». Так классик политической науки Юрген Хабермас называл феномен незаконченных перемен, которые спустя годы приходится заканчивать, еще раз нажав на клавишу Enter. Буржуазно-демократическая революция не была доведена до конца в 1991–1993 годах, хотя ее основные достижения были закреплены в Конституции 1993 года. И смысл происходящего — в ее завершении.

Сейчас российская история и российское массовое сознание взяли паузу. Но это не означает, что стремление к переменам не вернется в какой-нибудь другой форме, а продвинутые классы вдруг не почувствуют, что все-таки воздуха им не хватает. В своей же стране.

### *Представительная власть и непредставленное общество*

Представительная власть, выражающая интересы правящего класса, и гражданское общество, не имеющее представительства в парламенте, не представлены друг другу. Если они где и встречаются, то на улицах или в кабинетах «правоохранителей». Не представленное во власти гражданское общество уже в политическом цикле — 2012–2017 все дальше дистанцировалось от государства и его лидеров. И это отчуждение лишь усугубилось — раскол зафиксировали президентские выборы: вот равнодушное большинство, а вот меньшинство, которое резко против. Под управлением путинского политико-чекистско-олигархического класса осталась лишь часть страны: политические и бизнес-элиты, а также страты, полностью зависящие от бюджета, — армия, спецслужбы, правоохранительные органы, бюджетники и пенсионеры. Вся остальная страна перешла на автономный

режим существования: кто-то существует в теневом секторе, иные «отвязываются» от государства, добровольно-принудительно голосуя, а есть и такие, которые стараются не замечать власть, хотя делать это все сложнее. Те, кому мало просто отчуждения от государства, начинают строить свои институты представительства людей, ценностей, интересов. Это то, что чешский интеллектуал Вацлав Бенда называл «параллельным полисом».

Новые институты демократии вырастут не из традиционных партий. Бульон из плодотворных дебютных идей варится отнюдь не на думской кухне. Новые институты, идеи, лидеры — все это появится (и уже появляется) в гражданских организациях. Их можно вытеснить из легального поля, но тогда они станут целиком неформальными. «Параллельный полис» будет только расти.

Конкуренция прямой и представительной демократии — не специфически российское явление. Классик политологии Джозеф Най в книге «Будущее власти» прогнозировал: «Власть перейдет от государств к негосударственным акторам». Но у нас этот процесс сдобрен специями политического противостояния.

Гражданский активизм, сетевая демократия, волонтерство ближе к улице, чем к коридорам парламента. Но именно из этого «параллельного полиса» естественным образом прорастет параллельная власть, с которой для начала будут считаться люди, чьи интересы и ценности не воспринимает нынешний политический режим. Люди, составляющие население России, потерянной для официальных лидеров.

Получается, что нас ожидает конкуренция официальной власти и неформального сектора, представительной демократии, увы, дискредитированной, и прямой демократии.

Если режим под давлением общественных настроений сочтет за благо меняться, то единственный путь политической модернизации — сближение и взаимное дополнение представительной и гражданской демократии. Если нет, то российское общество окончательно разделится на два: подконтрольное нынешней власти и потерянное для нее.

## *Уподножия Волшебной горы*

Образование и собственность — два признака буржуа, говорил один из героев «Волшебной горы» Томаса Манна. Собственность позволяет человеку предъявить спрос на образование. А образование позволяет понять, что защитить собственность можно только в государстве, где работают политическая конкуренция, верховенство закона и свободная рыночная экономика. Столкнувшись с открытым цинизмом власти, буржуа разной степени достатка на рубеже 2011–2012 годов предъявили спрос на современное государство, защищающее своих граждан, оказывающее им качественные услуги и не обманывающее на каждом шагу, тем самым оправдывая свою отсталость от общества. Так началось и так будет продолжаться протестное движение: буржуа никуда не денутся, спрос на политические изменения не удовлетворен, протест по-прежнему подпитывается неэффективностью государства и его моральными «проколами» (антисиротским законом, законом об иностранных агентах, о нежелательных организациях, о расширении полномочий ФСБ и т.д.), управленческой немощью (катастрофы Кемерово, Волоколамска), непродуманными инициативами (повышение НДС и пенсионного возраста).

Обыватели превратились в избирателей. Им понадобилось новое политическое меню, не такое пресное и скудное. Так было в 2011–2012 годах. После поражения «болотной революции» избиратели снова превратились в обывателей. Или, по определению политического ученого Яна-Вернера Мюллера, «гражданин как участник политической жизни уступил место гражданину как потребителю». Тем не менее институт «спящего гражданина» иногда просыпается. А для этого достаточно почти случайных поводов. Родился и неполитизированный гражданский протест: свалки, пожары, застройки дворов, уничтожение парков, снос домов, реконструкции городских пространств — все это рождает новые виды сопротивления. Пусть и далекого от политики, но превращающего обывателя обратно в гражданина.

Но и им, тем, кого Путин считает своей нынешней социальной базой, тоже нужны работающие институты демократии, включая

выборы. Потому что демократия выгодна — в прагматическом, даже бытовом смысле — каждому. Ибо, как сказал Бертран Рассел: «При демократии дураки имеют право голосовать, а при диктатуре — править». Зачем народу несменяемые, никому не подотчетные, кроме первого лица, дураки у власти?

Власть, даже если она считает себя победителем в этой в буквальном смысле гражданской войне с гражданским обществом, проиграла главное. Она проиграла современного, образованного, думающего гражданина России. И осталась с обывателем.

## Бонапартизм по-русски

В 1991–1993 годах в России произошла буржуазная революция. Согласно современным теориям революции, до сих пор наша страна переживает период постреволюционной нестабильности. Например, по оценкам Владимира Мау и Ирины Стародубровской, авторов книги «Великие революции от Кромвеля до Путина», период постреволюционной нестабильности после 1917-го длился до 1964-го, и в стабильном состоянии режим просуществовал до следующей революции, которая называлась перестройкой, не очень плавно перетекшей в либеральные реформы. Путинская стабилизация оказалась таковой лишь при поверхностном взгляде на нее. По сути дела, это была попытка «термидора», который, собственно, по сию пору и продолжается. А любой термидор характеризуется бонапартизмом, стремлением лавировать между разными политическими силами с одной целью — удержать «стабилизированную» власть.

Бонапартизм нашего первого лица проявляется в «глиссировании» между группировками элиты, которые им уже не очень-то довольны, но боятся перекинуться на сторону контрэлиты, потому что есть большой риск оказаться или в тюрьме, или в изгнании. Но первому лицу приходится лавировать и между интересами разных социальных групп, пытаясь восстановить пазл «путинского большинства», из которого время от времени исчезают важные элементы картины.

Бонапартизм с блеском описан Карлом Марксом в работе



«18 брюмера Луи Бонапарта». Там есть и про поиски высшим руководителем социальной базы: «Бонапарту хотелось бы играть роль патриархального благодетеля всех классов. Но он не может этого дать ни одному классу, не отбирая у другого».

Именно средний класс составлял ядро поддержки Владимира Путина как «стабилизатора». Но после перерыва на Дмитрия Медведева, который пытался ориентироваться на самых продвинутых, из среднего класса выделилась активная прослойка, в какой-то момент неожиданно предъявившая спрос на политическую свободу. Вместо диалога получился даже не монолог, а акция прямого действия ОМОНа, законодателей, РПЦ. Причину усиления репрессий в отношении самой активной части среднего класса можно отыскать в «18 брюмера»: «Сила... буржуазного порядка — в среднем классе. Он (Луи Бонапарт. — А.К.) считает себя поэтому представителем среднего класса... Но, с другой стороны, он стал кое-чем лишь потому, что сокрушил и ежедневно сокрушает политическое могущество этого среднего класса».

Есть у Маркса и ошеломляюще точное объяснение технологии репрессий, которую в применении к нашему случаю мы могли бы назвать соединением правосудия и православия: «Другая “наполеоновская идея” — это господство попов как орудия правительства... поп уже превращается в миропомазанную ищейку земной полиции».

Полиция же должна быть дополнена еще одной силовой структурой: «Кульминационный пункт “наполеоновской идеи” — это преобладающее значение армии».

Законотворческая технология подавления гражданского общества описывается классиком так: «Каждый параграф конституции содержит в самом себе свою собственную противоположность, свою собственную верхнюю и нижнюю палату: свободу — в общей фразе, упразднение свободы — в оговорке».

На выходе имеем краткую характеристику сложившегося политического режима: «Бесстыдно-примитивное господство меча и рьясы».

Такой марксизм все-таки многое объясняет!

## «Волонтерская демократия» против «открепительной демократии»

После выборов 2012 года окончательно оформилась, а затем, несмотря на усиление репрессий, укрепилась противостоящая коалиции контрреформ и ее «карусельной демократии» сила — «волонтерская демократия». Множество людей стали наблюдателями за выборами, начали участвовать в неформальных сообществах граждан, а это верный признак зрелости общества.

«Открепительная демократия» аморальна. «Волонтерская» — инспирирована исключительно мотивами морали. И все жалкие попытки дискредитировать ее потому и беспомощны, что мораль всегда права.

Трудно противостоять образованному классу, предъявившему спрос не просто на политическую реформу, но прежде всего на мораль, на честность. Не придумана еще такая политическая технология, которая могла бы победить массовый спрос на правду.

Природа более чем ста тысяч подписей, поставленных когда-то на сайте «Новой газеты» под требованием не принимать закон о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, та же, что и у первых акций на Чистых прудах и Болотной. Это совершенно естественный, органический импульс негодования и отвращения. Здесь нет никакой политики. Зато есть этика. Если угодно, та самая тонкая пленка культуры, которая мешает всем нам одичать исключительно благодаря собственному равнодушию или готовности к моральным компромиссам.

Искать истоки тех же «цветных революций» в осознанном политическом заговоре — напрасный труд. Революции такого сорта — не заговор, а порыв, обусловленный этическими мотивами. Противно. Тошнит. Надоело. Противоречит не столько политическим убеждениям, сколько внутренним этическим запретам.

Отсутствие политического представительства, спрос на демократию и новых политиков — все это потом. А сначала — оторопь от вранья. На протест людей поднимает не политика, а этика.

Этический протест возникает тогда, когда власть дает для него поводы. В течение первого десятилетия XXI века в рамках извест-

ного контракта «свобода в обмен на колбасу» протест не предьявлялся (во всяком случае — массовый). Хотя поводов было предостаточно. И чем наглее становилась власть, чем равнодушнее замороченное своими проблемами «население», не желающее превращаться в граждан, тем очевиднее оказывалась неизбежность именно этического протеста.

Почему неполитический протест, хотя и далеко не всегда, перерастает в политический? Потому что власть, избранная тем способом, каким она избрана, принимает законы, нарушающие нормы человеческой этики. Будучи отчасти нелегитимной с точки зрения права, она оказывается и нравственно нелегитимной. И наиболее чувствительные люди это понимают. А понимая это, идут дальше в своих требованиях.

## Принуждение к нравственности

Мы с моим старым, еще университетских времен, приятелем, который отличался чрезвычайным антисоветизмом, грешил тамиздатовщиной и самиздатовщиной и даже прорабатывался на комсомольских собраниях чуть ли не факультета, сидели в сквере у памятника героям Плевны среди специфических персонажей московского дна, но с видом на ЦК, то есть администрацию президента. Я показал на пятый этаж серого здания и сообщил своему другу, что там сидел Леонид Ильич. В ответ он неожиданно твердо заявил мне, что хочет в Советский Союз. По ряду причин. Одна из которых — нынешнее всеобщее культурное одичание и архаизация.

По ходу разговора мы выработали понятие «принуждение к нравственности». Нацию, сказал мой приятель, от одичания спасает только навязываемая сверху как некая меганорма нравственность. Пусть в виде морального кодекса строителя коммунизма и комсомольских собраний (на которых его же и прорабатывали) — иначе народ распускается и опускается до уровня отдельных обитателей сквера у памятника героям Плевны. Я возражал: ГУЛАГ существовал именно в те времена, когда принуждение к нравственности оказалось на пике. Нет, ответил он, ты прекрасно понима-

ешь, что мы разделяем 60–70–80-е и сталинский период. Когда лучше работалось в науке — сейчас или в те годы, когда снимался выдающийся фильм «Девять дней одного года»? Пусть это красивая метафора времени, но она не лживая. Когда общественные настроения были нравственнее и по-хорошему оптимистичнее — сейчас или когда снимались «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве»?

Спорить с этим трудно. Однако наше время дает контраргументы. Ведь сейчас тоже наступила эра принуждения к нравственности — с культом рабочего человека, защитой православных святынь (вместо марксизма-ленинизма), законопроектом о запрете на иностранную недвижимость для государевых людей. И заканчивается это все абсурдом, чуть ли не запретом на курящего волка из «Ну, погоди!» или посадками, причем политическими.

Принуждение к нравственности приводит к тому, к чему оно приводит в арабских странах, где «за родину, за нравственность» убивают американского посла, а награду за голову Рушди увеличивают — правда, при этом номинируя ее в долларах.

Наверное, нравственность — она как религия: живет внутри человека, отдельного и частного. И растет снизу, а не навязывается сверху. Как у тех же ребят из «Заставы Ильича» или «Я шагаю по Москве»: да, была пафосная марксистско-ленинская рамка, но все хорошее шло от человека, а не от системы. Иногда это хорошее начинало противоречить и противостоять системе. И тогда легко представить этих романтических людей из фильмов Хуциева и Данелии посаженными в тюрьму. Что, собственно, и началось во второй половине 1960-х. Ибо слишком много стало в передовых слоях «частной», нелегальной нравственности.

Вот и сейчас в корневой основе своей протестное движение — это движение за этику, за честность. Потому и дискредитировать его пытаются, демонстрируя по телевизору деньги, нечистоплотность в быту, заказ... Но государство-то знает, что и здесь оно тоже отстало от общества. Что оно не имеет права навязывать нравственность, помечая все вокруг 18+, потому что само безнравственно.

Новый социальный контракт:  
«Мы вам — тысячелетнюю историю,  
а вы отказываетесь от еды»

В мае 2016 года произошла утечка с заседания Экономического совета при президенте. В ответ на деликатное предложение Алексея Кудрина снизить градус того, что эвфемистически называется «геополитической напряженностью» ради исправления экономической ситуации, глава государства высказался примерно так: пусть мы и отстаем, но зато у нас тысячелетняя история и суверенитетом мы не торгуем.

Как будто бы кто-то предлагал нам его купить... У нас ведь как: продается все, кроме знамени; но и знамя можно продать, если условия чрезвычайно выгодные.

Получился своего рода парафраз старой советской конструкции: «...зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балету, говорю, мы впереди планеты всей» («Рассказ технолога Петухова», Юрий Визбор, 1964).

Вечное российское «зато»! Несмотря, вопреки, невзирая на. Этот коктейль комплекса неполноценности и комплекса превосходства (в качестве ингредиентов) — духовность выше прагматизма, Обломов выше Штольца, скрепы важнее прав человека. Будем держаться за свой «эффект колеи» — веками эксплуатируя «зато» и предлагая его вместо развития. Притом что уже и ракеты не взлетают, а тех, кто их конструирует, сажают, объявляя изменниками родины, и днем с огнем не сыщешь умника, читавшего Толстого, да и Крым, как сказал один продвинутый юзер, Украине передала Екатерина Вторая. Гордимся своей историей!

Верхняя Вольта с ракетами сказочным образом обернулась Верхней Вольтой с айпадами. Правда, не импортзамещенными. Проценты роста ВВП заменены числом лет, из которых состоит наша история. Чем хуже дела в экономике, тем больше посадок шпионов и изменников.

Внутренняя и внешняя политика в результате поглощается политикой исторической — у нас была великая эпоха. Мы ее наследники. А потому — легитимны (все равно других достиже-

ний, кроме исторических, нет). Недавно я увидел на торце недостроенной пятиэтажки в унылом спальном районе столицы нашей родины корявенький портрет Гагарина и надпись: «Юра! Мы исправились!» И абрис Крыма. Написали бы еще послание в прошлое Харламову: «Валера! Мы взяли бронзу на чемпионате мира в Москве!» Тренер Анатолий Тарасов поднимал в раздевалке пацанов 1940-х годов рождения «Интернационалом», после чего они обыгрывали всех. А чем теперь поднимать будем?

Отношения с историей у нас непростые. Народ, заучивавший наизусть «Краткий курс», а теперь использующий в качестве учебника истории документальные фильмы и ток-шоу федеральных каналов, так и вовсе может потерять память. Однажды уже очень пожилая мать поэта Бориса Слуцкого встретила в санатории сравнительно молодую и привлекательную вдову Алексея Толстого и сказала: «А Софья Андреевна еще неплохо выглядит». Вот примерно так мы и судим о своей тысячелетней истории.

Власть черпает легитимность в прошлом — у нее есть Великая Отечественная, Гагарин и в некотором противоречии с первыми двумя элементами — Сталин. Трусливый тиран, льстивший в тосте мая 1945-го русскому народу, который не «прогнал» его в июне 1941-го, а защитил.

Автократ кое-что смыслил в теории общественного договора: он понимал, если судить по его историческому тосту, что народ, столкнувшийся с неэффективным правлением вождя, поставившего под удар всю страну, имеет право на восстание.

Теория социального контракта со времен Жан-Жака Руссо (не путать с площадкой для алкогольной анестезии «креаклов») и Сталина ушла далеко вперед: сначала была модель «Нефтяное благосостояние в обмен на невмешательство в автократическое правление», теперь она трансформировалась в «Мы вам — тысячелетнюю историю, а вы отказываетесь от еды». Хотя можно заказать комплексный обед по текущему курсу руб./долл., состоящий из восстановления чувства великой державы и освежающего витаминного напитка «Встань-с-колен».

Нельзя сказать, чтобы такой обмен был равноценным. Но история вкупе с суверенитетом осажденной крепости стоит мессы на

горе Афон, заменившей пик Коммунизма. Тем более что теперь пик называется иначе и находится на территории суверенного Таджикистана, где президента огненные можно избирать неограниченное число раз.

Кстати, о выборах — фальсифицируемых, контролируемых, с дискредитацией оппозиции, с давлением на ее лидеров, с уголовным преследованием и публичным шельмованием. Здесь мы тоже придерживаемся исторической канвы, нашей древнерусской path-dependence (зависимость от предшествующего развития). Когда, как свидетельствует Энн Эплбаум в книге «Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)», 4 ноября 1945 года на парламентских выборах в Венгрии победила Партия мелких хозяев — 57% голосов против 17% у коммунистов, куратор венгерской территории Климент Ворошилов заявил, что это ничего не значит. Рабочий класс, поддержавший коммунистов, несет бремя восстановления экономики страны и потому заслуживает масштабного представительства в парламенте. Ну а дальше начался настоящий террор в отношении победителей. И «широкое представительство рабочего класса» было обеспечено на полную проектную мощность.

Тысячелетняя история сочетается с отказом от торговли суверенитетом. Но чем мы на самом деле торгуем? Нефтью и газом. Чем еще? Угрозами. Пугаем Запад самими собой, а подконтрольное население — Западом.

Нынешние элиты, приватизировав героику Великой войны, приравняли себя к той власти, которая имела отношение к Победе, и вернули современной постгероической эпохе героический смысл: те, кто ее защитит от внутренней пятой колонны и внешних врагов, будут объявлены не просто героями, а наследниками нашей истории.

Это у Милана Кундеры в романе «Неведение», действие которого происходит в Чехословакии после «бархатной революции», стал возможным такой диалог:

«— Но если страна не суверенна и не стремится ею стать, готов ли будет кто-нибудь умереть за нее?

— Я не хочу, чтобы мои дети готовы были умереть... Умереть за свою родину, такого больше не существует».

Был этот диалог возможен и естествен и у нас в те же годы. Теперь все иначе. Смерть за абстракцию суверенитета — возможна.

Почему — абстракцию? Потому что политически никто на него не покушается. Кажется, это мы взяли Крым, а не кто-нибудь другой. И разве гибель российского солдата в Донбассе или в Сирии оправдана идеей суверенитета России?

В экономическом смысле суверенитет — объективно ограниченное понятие, потому что современная рыночная экономика интернационализована. Архитектор единой Европы Жан Монне считал, что главной послевоенной опасностью для континента стало бы «восстановление Европы, состоящей из суверенных государств, подверженных соблазнам протекционизма». Этот соблазн в широком — не только в сугубо протекционистском, но и в политически изоляционистском смысле — погружает сегодня Россию в экономическую, политическую, психологическую депрессию.

Есть еще один смысл фетишизации суверенитета — мифологический. Его целеполагание — сохранение во власти нынешних лидера и его элит. Но на то он и мифологический — то есть не имеющий к реальному миру отношения. Зато имеющий отношение к политическому пиару.

Россия — идеократия, точнее, даже логократия, потому что ею правят не идеи, а просто слова-месседжи — «тысячелетняя история», «суверенитет», «национал-предатели», «духовность», «Крымнаш», «импортозамещение», «скрепы».

Экономический прагматизм предполагает отказ от слов с искусственным смыслом. Но никакого экономического прагматизма не будет, когда слова с искусственным смыслом позволяют управлять страной и сохранять власть тем, кто стремится ее удержать за счет рядовых россиян.

## Гибель богов по-русски

Жизнь не столько подло, по Набокову, сколько карикатурно подражает художественному вымыслу. Лукино Висконти как представитель старого аристократического рода всегда подолгу и бес-



пощадно к съемочным группам работал над деталями пышных, как торт, интерьеров и пахнущих потом и пудрой костюмов. И ему было бы интересно показать гибель новых русских богов в обстоятельствах новорусской дворцово-парковой архитектуры, тем более что всем нам уже дали возможность заглянуть одним глазком в интерьеры коробок из-под долларов.

Да, эти интерьеры — карикатура. Этакое дизайн-бюро «Висконти». Но какой замах!

Чем наши русские современники — новое дворянство, офшорная аристократия (В. Сурков), *creme de la Kreml* (В. Радзивинович) — хуже или лучше висконтиевских героев? Ничто человеческое, в том числе аморальное, им не чуждо. А тяга к упадническим интерьерам и аристократическим ландшафтам возникает автоматически с первым заработанным миллионом долларов. Сколько таких драм, подражающих Висконти, таят в себе Рублево-Успенское и Подушкинское шоссе, и не только они.

Мы живем в хаотическом и необъяснимом мире, смысл и содержание которого невозможно расшифровать километрами русских сериалов и тоннами легковесного ракушечника слов. Зато работают отлитые в граните формулы вроде черномырдинской, с майки, продающейся в Ельцин-центре в Екатеринбурге: «Никогда такого не было, и вот опять».

И это «опять» и в самом деле повторяется — как трагедия, как фарс, снова как трагедия, заново как фарс. И все это череда упадков семей и Семей — со строчных и прописных букв. Упадок проистекает, как правило, и от неспособности адаптироваться к новым обстоятельствам, и по причине попыток приспособиться к ним, что на самом деле одно и то же — это показал в «Будденброках» столь любимый Лукино Висконти Томас Манн. «Конформизм» здесь ключевое слово. Жан-Луи Трентиньян одной своей ролью в «Конформисте» Бернардо Бертолуччи, работавшего вполне по-висконтиевски, показал модельную «гибель и сдачу» не отдельных людей, а целых социальных групп в условиях авторитарных режимов.

Политическим элитам во всех странах нужно каждый вечер показывать этот фильм, которому скоро сравняется полвека, чтобы

пробуждать если не совесть, то страх перед самими собой. И возможным своим концом.

Почти каждая картина Висконти — о падении. Гениальный фильм «Гибель богов», он ведь, конечно, о нацистской Германии, которая, как показал режиссер, кончилась, едва начавшись (действие происходит в 1933-м), но и не только. Он модельный — о любом упадке и любой сдаче. О мотивах, оправданиях и отмазках. И коллективной ответственности.

Глава большого промышленно-финансового клана Иоахим фон Эссенбек перед смертью, о наступлении которой он и не подозревает, сбивчиво оправдывается: «Вы должны признать, что я никогда не благоволил к этому режиму... Вы все знаете, что у меня никогда не было и никогда не будет никаких отношений с этими господами... Вместе с тем интересы завода... наша производственная деятельность вынуждают нас... поддерживать с этими людьми ежедневные контакты. Вот почему я ощущаю неизбежную необходимость иметь рядом человека, который этот режим приемлет, что могло бы гарантировать нам...»

В синопсисе «Гибели богов» Никола Бадалукко, Энрико Медиоли (идея сценария, кстати, принадлежала ему) и сам Висконти настаивают на личной ответственности каждого немца за то, что произошло с Германией. А потом Висконти уточнит: «Непротивление злу приводит к его абсолютизации». В том числе непротивление внутри элит. Гибель и сдача в фильмах Висконти ведь происходит не в лачугах бедняков, а в рембрандтовских сумерках родовых замков.

И снова я возвращаюсь к «Семейному портрету в интерьере». Это важно, потому что он — об ответственности. С годами интерьеры у Висконти становились строже и лаконичнее, а «Семейный портрет...» уже можно было превратить в театральную постановку со скупыми декорациями. Если бы мастер не скончался, он бы снял еще более камерную драму — кино по «Волшебной горе» Манна, где действие фильма должно было разворачиваться исключительно в больничной палате. Там даже не было бы Давоса, как в «Портрете» почти нет Рима. Упадок и гибель требовали все меньше квадратных метров жилой площади.

В своей самонадеянности мы считаем наше время самым ужасным и непредсказуемым. Но это свойство любой эпохи. Годами, десятилетиями, уже теперь чуть ли не веками происходят все эти хэллоуинские страшилки — «смена мирового порядка», «закат Европы», «сумерки Запада». А типажи и типы остаются прежними.

«Семейный портрет» снят в 1974-м, и это время казалось тем, кто внутри него жил, вовсе не лучше нашего: Италию тогда захлестнула волна черного и красного террора, неофашистский заговор представлялся вполне реальным — во всяком случае, Висконти верил в его возможность. И в «Семейном портрете» режиссер предьявляет всех ответственных: от бывшего активиста мая 1968-го Конрада и его любовницы, жены затевающего неофашистский мятеж магната, до профессора, отгородившегося от жизни и «черствеющего в созерцании искусства». Бездействие, конформизм и бездумность — это, получается, тоже ответственность.

Висконти могли бы понравиться сценические обстоятельства нашего «Семейного портрета»: представим себе активиста Болотной 2011–2012 годов, перекинувшегося в противоположный политический лагерь, и бездетного старика, отключившего телевизор с поющими на одной высокой ноте прокремлевскими токшоу, но и не желающего ни во что вмешиваться: «Интеллектуалы моего поколения считали, что нужно как-то уравновесить политику и нравственность. Тщетно». И никто ни за что не отвечает, даже в бытовом смысле, потому что один из персонажей — «собачонка госпожи», а другой живет наедине с conversation piece, коллекцией семейных портретов, не имея семьи и детей, за которых мог бы быть в ответе.

У Висконти профессор эту семью обретает и немедленно теряет, когда Конрада сначала калечат, а затем убивают за то, что он выдал властям участников заговора. Снова распад того, что едва начало оживать. После гибели Конрада и предсмертной записки с подписью «твой сын» профессору остается лишь ожидание собственной кончины — сам Висконти говорил, что он рассказывал эти истории «как реквием». В том числе и по самому себе —

после премьеры «Портрета» режиссеру оставалось жить меньше двух лет.

Его грандиозный панорамный «Леопард», такой расточительный в изобразительных средствах и потому столь непохожий на «Семейный портрет», в сущности, та же семейная сага со смертью главного героя и коллективным сбором всей семьи; в «Леопарде» — на легендарном висконтиевском балу.

Там же можно найти и главный политический рецепт — на этот раз успешного конформизма. Для тех, разумеется, у кого хватает не только гибкости позвоночника, но и ума ему следовать. Например, аристократу иногда полезно повоевать в отрядах Гарибальди, чтобы потом примкнуть к новым хозяевам. Герой Алена Делона Танкредо Фальконери, лишенный демонизма, но не прагматизма, произносит главное: «Если мы хотим, чтобы все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось».

Кажется, интуитивно это понимал даже Черномырдин со своим «никогда такого не было...». Закон Танкредо Фальконери еще не выучен нынешней госкапиталистической аристократией — возглавить изменения, чтобы сохранить свои позиции, им мешает порождающее счастливую слепоту и глухоту самодовольство. Но уроки распада от Висконти еще никто не отменял, и, если помнить о них, есть шанс не стать актерами в пародии на гибель висконтиевских богов.

## В ожидании Лидии Тимашук

История закольцевалась. «Мы жили тогда манией преследования и величия», — сказал о времени позднего Сталина Давид Самойлов. Российская история наматывает круги и, кажется, готова повторяться бесконечно: мы снова самые сильные, но только потому, что осознаем свою слабость. У слабости должны быть причины. Значит, наши последние силы подрывает кто-то за пределами наших границ, в том числе используя внутреннюю пятаую колонну.

После очень короткой паузы — прохождения пика антизападной истерии, полного подавления гражданского общества репрес-

сивным законодательством, и прежде всего законом об иностранных агентах, исчезновения с первых полос г-жи Яровой — умение вернулось. Причем со всеми своими атрибутами, включая риторику, отсылающую к концу 1940-х. И это явно консолидированная позиция власти, если глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, еще недавно призывавшая как-то ответить на вопросы протестного движения по поводу коррупции, начала рассуждать об «усилении незаконной протестной активности, подготовленной как оппозиционными силами, так и зарубежными центрами». Генпрокурору Чайке снова грезится — нет ничего банальнее и глупее — рука Госдепа, который, вообще говоря, в нынешнем своем состоянии (незаполненные вакансии, административный бардак, несформулированная линия внешней политики) едва ли способен питать кого-либо не только долларами, но и кондитерскими изделиями.

Им всем, «элитам», уже мало более 30 репрессивных законов, принятых начиная с июня 2012 года. Нужно «расширить перечень оснований для признания организации нежелательной», следует «запретить реализацию программ НКО, противоречащих интересам государства». Необходима «суверенная экспертиза» — проверка законопроектов на соответствие «невмешательству во внутренние дела РФ». Мало кого волнует то обстоятельство, что на фетиш и болезненную озабоченность нынешнего политического режима — «суверенитет», — не покушается вообще никто. «Суверенитет» нашего начальства — это такой Неуловимый Джо из анекдота. Он неуловимый потому, что никому не нужен. Хотя и считается, что из-за него лишился сна коллективный Запад с его НАТО.

Скоро наши законодатели не просто начнут признавать иностранными агентами физических лиц, но начнут расследование в отношении самих себя — а не являются ли они сами иноагентами, покупая дорогие западные костюмы, рубашки, галстуки, ботинки, носки, трусы, а также предметы личной гигиены, стройматериалы и спиртные напитки? Начни с себя, депутат (сенатор, чиновник), — поищи на себе (в себе) иностранного агента! Не попал ли в тебя вражеский пестицид через отравлен-

ное черногорское вино? А кто притаранил 5 кило сыра из Страсбурга?

Стартовавшая с новой энергией истерия — это почти буквальное повторение кампании борьбы с «безродными космополитами». 10 февраля 1948 года — постановление ЦК «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели»: «Антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его вкусам». Чем не Мединский с его бессмертной фразой о том, как он «бесконечно далек от эстетики» Кирилла Серебренникова и последующим доносом Минкульта в Следственный комитет на проект «чуждо-го» режиссера. А программа Соловьева вполне сопоставима, например, с установочной статьей в газете «Правда» от 28 января 1949 года «Об одной антипартийной группе театральных критиков». Путин же, успокаивающий творческую интеллигенцию, вполне сравним со Сталиным, который на пике борьбы с космополитами, уже после всех самых чудовищных процессов и расправ, возмущился на заседании комитета по сталинским премиям в конце 1952 года: «У нас в ЦК антисемиты завелись. Какое безобразие!»

Градус паранойи такой, что остается только дожидаться Лидии Тимашук и устроить показательный дидактический процесс над иностранными агентами, проникнувшими в Минздрав и тайно насытившими аптечные сети зарубежными лекарствами. А на борьбу с «низкопоклонскими» настроениями следует бросить Поклонскую. Заодно отвлечь ее наконец от Николая II, который, кстати, называл черносотенцев «милыми» его «сердцу».

Давно замечено, что массовое безумие охватывает гигантские массы людей молниеносно. Это психология толпы: все побежали — и я побежал, стало можно писать доносы — и я написал. Сажать и терроризировать, надзирать и наказывать? Так я всего лишь выполнял приказ. На этой уютной близости к мейнстриму держались и держатся тоталитарные и авторитарные режимы. Механика известна давно и описана, например, Ханной Арендт: «...еще более пугающим было то, с какой легкостью все слои немецкого общества, включая прежние элиты, не тронутые нацистами и никогда не отождествлявшие себя с

партий у власти, пошли на сотрудничество». Человеческая адаптивность не меняется не то что десятилетиями — веками. Базовые условия существования автократий — массовые равнодушные, адаптивность и конформизм.

Одичание через конформизм — одноканальный процесс. Это движение в одну сторону: к закону об иностранных агентах добавляется закон о нежелательных организациях, к этому закону непременно придумают что-нибудь еще. Борьба с обходом блокировок запрещенных сайтов соседствует с инициативой о введении гимна «Боже, царя храни». Советского гимна уже мало...

Это все в логике еще одного архетипического сюжета — «Сказки о рыбаке и рыбке». Остановиться они не могут. Пока не станут претендовать на статус «владычицы морской». И не окажутся у разбитого корыта... Но история снова и снова повторяется. «Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей». А их наследники строят планы на наших внуков.

Как-то надо выбираться из этой дурной бесконечности, честное слово. Чтобы перестать ждать периодического появления Лидии Тимашук в новой реинкарнации.

## *Библио- и видеография*

«А за мною шум погони» Борис Пастернак и власть. 1956–1972 гг.: Документы. Под ред. В.Ю. Афиани и Н.Г. Томилиной. — М.: РОССПЭН, 2001.

Василий Аксенов. «Звездный билет»; «Таинственная страсть» — любые издания. Людмила Алексеева. Поколение оттепели. — М.: А.И. Захаров, 2006.

Людмила Алексеева. История инакомыслия в СССР. Новейший период. — М.: Хельсинкская группа, 2006.

Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е — 1980-е. Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель М.Ш. Барбакадзе. — М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. — В 3 томах.

Филип Буббайер. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. Пер. с англ. — М.: РОССПЭН, 2010.

Юрий Буртин. Исповедь шестидесятника. — М.: «Прогресс-традиция», 2003.

Петр Вайль, Александр Генис. 60-е. Мир советского человека, любое издание.

Сесиль Вессье. За нашу и вашу свободу! Диссидентское движение в России. — М.: Новое литературное обозрение, 2015.

Власть и диссиденты. Из документов КГБ и ЦК КПСС. — М.: Хельсинкская группа, 2006.

Александр Галич, Геннадий Шпаликов — любая подборка стихов.



- Сергей Гандлевский. «Нрзб». — М.: Колибри, 2002.
- Наталья Горбаневская. Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади. М., любое издание
- 5 декабря 1965 года в воспоминаниях участников событий, материалах самиздата, публикациях зарубежной прессы. Составители: Д. Зубарев, Г. Кузовкин, Н. Костенко, С. Лукашевский, А. Паповян; общая редакция, предисловие и вступительные заметки к главам А. Даниэля. — М.: Мемориал, 2005.
- «Из-под глыб», сборник. — Париж: YMCA-press, 1973.
- Дина Каминская. Записки адвоката. — М.: Новое издательство, 2009.
- Андрей Колесников. Попытка словаря. Семидесятые и ранее. — М.: РИПОЛ классик, 2010.
- Владимир Кормер, роман «Наследство», пьеса «Лифт», статья «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» — двухтомник. — М.: Время, 2009.
- Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953–1982: Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. Под ред. В.А. Козлова, С.В. Мироненко. Отв. Сосот. О.В. Эдельман. — М.: Материк, 2005
- Милан Кундера, романы «Невыносимая легкость бытия», «Жизнь не здесь», «Шутка» — любые издания.
- Владимир Лакшин. «Новый мир» Хрущева: Дневник и попутное (1953–1964) — М.: Книжная палата, 1991.
- Владимир Лакшин. Солженицын и колесо истории. — М.: ООО «Алгоритм-Книга», 2009.
- Мераб Мамардашвили. Вильнюсские лекции по социальной философии. — М: Фонд Мераба Мамардашвили, 2018.
- Юрий Орлов. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни, М.: А.И. Захаров, 2008.
- Андрей Тарковский. Мартиролог. Дневники 1970–1986. — М.: Издательский дом Tibergraph, 2008.
- Александр Твардовский. «Новомирский дневник». — М.: ПРОЗАиК, 2009: Том 1 (1961–1966); Том 2 (1967–1970).

Юрий Трифонов, «Дом на набережной», «Обмен», другие московские повести, роман «Время и место» — любые издания.

Борис Фирсов. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы. — СПб.: Издательство Европейского университета, 2008.

Илья Эренбург. Люди. Годы. Жизнь, том 3, книга 7 — любое издание.

Художественные фильмы:

Комиссар (1967). Реж. Александр Аскольдов.

Июльский дождь (1966). Реж. Марлен Хуциев.

Ты и я (1971). Реж. Лариса Шепитько.

*Андрей Колесников*

АРХЕОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОГО (САМО)СОЗНАНИЯ:  
ИСТОКИ, ИДЕИ И ЛИЦА

Компьютерная верстка *В. Козак*

Подписано в печать 4.12.2018. Формат издания 60x84/16.  
Печ. л. 9,25. Тираж 1000 экз. Заказ № 118.

Отпечатано в типографии издательства «ПРОБЕЛ-2000»  
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 91, стр. 4.  
Тел. (495) 287-06-19; e-mail: probel-2000@mail.ru

Школа гражданского просвещения  
107031 Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 1  
<http://www.civiceducation.ru>